

Валентин Распутин

ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА

Повесть

Часть первая

Кухонное окно было над подъездом, над его визгливой дверью, голосившей всякий раз, когда входили и выходили. В том нетерпении, горевшем огнем, в каком находилась Тамара Ивановна, она бы услышала звук двери из любого угла, даже из спальни на другой боковине квартиры, где уснул муж, но уже несколько часов продолжала стоять у окна, точно вытянувшаяся струна, направленная в улицу и ожидающая прикосновения. Но там было темно и глухо. Световое пятно от лампочки у подъезда едва доставало до низкого штaketника, которым огорожен сквер и детская площадка в нем среди высоких, шатром разбросавших ветви, старых тополей. И никто в него, в этот недвижный и блеклый световой круг, не входил. Тамара Ивановна была так напряжена, и сама пугаясь продолжительности накала внутри, до сих пор не испепелившего ее, что заметила бы любую тень в черном до темна сквере и услышала бы любой скрад шага из-за угла, если бы они только явились. Но нет, все замерло и оцепенело. С улицы, загороженной и приглушенной спящими домами, поначалу еще пошумливали машины: точно запоздавшие птицы снимались с кормежки, теперь и там вымерло.

Самый глухой час ночи, наверное, уже больше трех.

Муж спит. Как же все-таки по-разному устроены мать и отец: разве она могла бы уснуть? В детях, может, и есть половина отца, да только малая она, эта половина, без вынашивания и без того вечного, неизносного присутствия в своем чреве, которое чувствует мать. И, рожая дитя свое, превращающееся затем во взрослого человека, не все она в родах и корчах выносит наружу: впитавшееся в стенки то же самое дитя остается в ней навсегда. И не сердце одно болело теперь у Тамары Ивановны, а вся она превратилась в сгусток боли, все в ней исходило в пытку. Но скреблось что-то и отдельно, особой болью, скреблось и скреблось, разрывая ткани и выставляя одно слово. Скреблась она, Светка, зовущая мать...

Вечером, когда началась эта пытка, Анатолия, мужа, дома не было. Но Тамара Ивановна знала, что он у Демина, они затевали какое-то общее дело, уже с месяц дальше разговоров никуда не продвинувшееся. Заводилой был Демин, более решительный и опытный в новой жизни. Он сразу же, как только покатила старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыряясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал двадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно — стыд сказать! — то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненадобностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужиками крутила баранку.

Тамара Ивановна отыскала его по телефону у Демина уже после одиннадцати вечера. До этого она сбегала на соседнюю улицу к Светкиной подружке Люсе, рослой и пышной девчонке, которую можно было принять за совсем вызревшую женщину, если бы не откровенно кукольное лицо — круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками. И по этому лицу, деланно испуганному и одновременно восторженному, нельзя было понять, говорит ли девчонка правду, будто она видела Светку только днем. Видела на рынке, они ходили спрашивать про работу, с ними была и Лида Тополь. Работы не сыскалось, и она, Люся, уехала, оставив подружек возле торгового комплекса. Когда уходила, заметила, как к Светке и Лиде подошел какой-то парень кавказской национальности в джинсовой куртке.

Один был толк от этого похода: Люся назвала адрес Лиды Тополь, та жила далеко, в

микрорайоне.

После того, возвратившись домой, Тамара Ивановна и позвонила Анатолию и уже без всяких сомнений сказала, что Светка потерялась. Такого еще не бывало, чтобы она приходила позже девяти. Этот час и был ей указан как домашний порог, и задержаться где-нибудь по своей воле после девяти она бы не решилась. Ивану, младшему на год, позволялось больше, он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень. И совсем иное дело — девчонка шестнадцати лет, хорошенькая, нетвердая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги. Она пошла в школу рано, шести лет, и рано же, после девятого класса, бросила школу, заразившись поветрием, невесть откуда налетевшим, что учиться необязательно. Пошла на девятимесячные курсы продавцов, поближе к красивой жизни. Закончила эти курсы, а на работу не берут: несовершеннолетняя. И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок, выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром.

Вот так.

Анатолий приехал с Деминым, в деминской машине. Тамара Ивановна, не находя себе иного места, вот так же стояла возле кухонного окна и видела, как беззвучно и валко, вышаривая в густых сумерках дорогу в узком и дырявом, яма на яме, проезде, подплыла «семерка» и выскочил Анатолий, а выскочив, застопорил, поджидая Демина. Так легко было догадаться: не хотелось ему одному подниматься сейчас в родное гнездо с нагрывавшей туда угрозой и встретить испуганный и требовательный взгляд жены. Но и Тамара Ивановна вздохнула легче, увидев Демина. С ним надежней. Демин выбрался из машины и, как всегда, горбатисто, клонясь вперед, со свисающими с плеч длинными руками, похожий на первобытного человека, каким рисуют его в школьных учебниках, первым шагнул в подъезд. А войдя в открытую дверь, поняв по напряженному лицу Тамары Ивановны, что девчонки по-прежнему нет, сказал по обыкновению гулко и с хрипотцой:

— Не паникуй. Рано паниковать. Время-то еще детское.

Но все услышали, в том числе и сам он, что это были только слова. Ненужные слова.

Оставили дома Ивана, наказав ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно у телефона, и вышли.

Поехали.

Ночь наступала теплая, темная и вялая, должно быть, к дождю. Прохожих уже и не было, зато разудало, почуяв свободу, неслись машины, в три-четыре года свезенные сюда со всего света, чтобы устраивать гонки. И эти гонки на чужом были теперь во всем — на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все хлынуло разом как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их — одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю.

Ехали молча, только Демин побряхтывал, когда подрезали его иномарки или ослепляли мощными встречными фарами, не считая нужным переключаться на ближний свет. Спустились в центр, по старому мосту перескочили на левый берег Ангары, повернули вправо и оставили город позади. По сторонам встала темнота. Чтобы не оцепенеть, Тамара Ивановна на заднем сиденье, пригибаясь и выворачивая перед стеклом голову, принялась высматривать в небе звездочки. Их не было, широко стояло там, в высоте, как болотная ряска, радужно-гнилое свечение от электрического разлива города. Тамара Ивановна, не отыскав звездочки, стала вспоминать, загадывала ли она что-нибудь, высматривая их, но не могла вспомнить, словно разошлась, разделилась уже на две части, меж которыми слабое

сообщение.

— Тихо едем? — по-своему понял ее шевеление Демин.

— Да нет, Демин, не тихо. Горопиться раньше надо было, — уже себе сказала она. А ему добавила: — Как въедем, у второго или у третьего светофора направо.

— Точней некуда, — хмыкнул Демин. После молчания они рады были любым словам.

— Да... вот... — начал и Анатолий, и не сложилось у него, что он хотел сказать.

— Где «вот»? — не понял Демин.

— Где что?

— Ты сказал: вот. Где «вот»?

— Вот не знаю. Я тут не бываю, — сказал Анатолий так простодушно, что Демин хохотнул.

Долго искали улицу по названию Черемуховая; если судить по названию, должна была она находиться на краю микрорайона и быть деревянной. Сворачивали и у второго светофора, и у третьего, утыкались то в болотину, то в ангарский берег, у каждого перекрестка останавливались, наводили свет на угловые дома и заборы, чтобы отыскать надпись, но микрорайон в этой стороне на постороннего человека не был рассчитан и имена своих улиц не оставлял. Спросить было не у кого, шел первый час ночи. Только однажды разглядели они фигуру, крадущуюся по тротуару вдоль забора; Демин, опустив стекло, окликнул ее с дружелюбием, на какое был способен, но фигура, походившая на подростка, вдруг сделала мгновенный прыжок и провалились сквозь землю. Деревянные дома лежали в темноте, какой-то особенно плотной, словно из освещенного центра она вся отступала сюда; в каменных, этажных домах освещенных окон было больше, но попробуй достучись, доберись до них за двойными и тройными запорами.

Тамара Ивановна из машины не выходила. Отвалившись на спинку сиденья, упершись коленями в переднее сиденье, в странной напряженной забывчивости ждала, когда найдется нужный дом. Тупо смотрела она в темноту и еще тупей в запутанные ходы тоннеля, по которым, вспарывая перед собой фарами черную плоть, колесила машина. Замечала и не замечала, как мигает светом Демин редким встречным машинам, прося остановки, не возмущалась и не удивлялась, чувствуя в этом какое-то даже утешение, когда те проскальзывали мимо и прибавляли ходу. Наконец одна, храбрая, затормозила. Демин зашагал к ней, к нему вышел коротышка, похожий на бочонок, и, разминая ноги, точно приплясывая перед огромным Деминым, принялся крутить руками.

Черемуховая оказалась вовсе и не в стороне, а рядом с центральной улицей, протянувшейся через весь микрорайон, и оказалась она переулком всего с несколькими четырехэтажными домами. Остановились у подъезда, конечно же, забронированного железной дверью, совсем темного, во мраке как бы вдавленного внутрь. Демин на ощупь воткнул в круглую дыру один зубристый штырь, потом второй — дверь щелкнула и подалась.

— Мне идти? — спросил он у Тамары Ивановны.

— Не надо.

И вот перед нею и Анатолием вторая Светкина подруга — с вытянутым вперед узким зверушечьим лицом на сдавленной по бокам голове и с живыми, мечущими мгновенные взгляды, круглыми мигающими глазами. Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, она бывала у Воротниковых. Тамара Ивановна мимоходом присматривалась: кто из них верховодит? И не высмотрела, все они притягивались друг к другу какой-то равно невеликой силой — как временные попутчицы, ищущие общих занятий. Но эта, Лида, была хитрее. Встроен был в нее особый инструмент, дающийся не всем, на котором она умела играть. Есть люди, нисколько не скрывающие, что они хитрят, хитрость у них написана на лице, выдающем поиски замысловатых боковых ходов, но так она располагающа, такой она кажется невинной и бестолковой, более того — приятной, что никаких подозрений она не вызывает.

Лиду подняли с постели, и теперь она, испуганная, с нервно двигающимися тонкими

губами, в коротком и узком застиранном халатике, едва сходящемся на скромной груди, стояла возле круглого голого стола рядом с зашторенным окном. По другую сторону стола сидела мать, вялая и невыразительная женщина с таким же, как у дочери, вытянутым лицом, подавленная не приходом непрошенных гостей среди ночи, а подавленная чем-то давно и безысходно. Глаза ее смотрели пронзительно и устало, с какой-то пронизывающей тупостью. Тамару Ивановну и Анатолия усадили на диван, уже раздвинутый для сна, со скатанной в валик постелью.

Лиду застали врасплох, она не знала, как отвечать. И отвечала осторожно, выдавая недосказанное подергиваниями плеч, то ли себя выгораживая, то ли Светку. Прежде чем говорить, спросила: а что сказала Люся? Сказала, что она уехала? Нет, не обманула, вправду уехала. А к ним возле торгового комплекса подошел парень. Он на рынке фруктами торгует, приезжий. Как зовут? Он сказал, как зовут, я нерусские имена не умею запоминать. Говорил? Он к Светке приставал, говорил, что она ему понравилась, он к Светке не в первый раз подходит. Говорил: зачем ты меня обманула, тебя зовут не Марина. Сказал... город ему понравился, просил показать город... Я, говорит, поймаю машину, вы мне покажете. Нет, не согласились. Мы уходим, а он не отстает, прилип. Кое-как убежали. Потом Светка пошла к дяде Володе, а я поехала домой.

Дядя Володя — это Демин, у него на рынке киоск, куда Светка и верно забегала частенько.

Расспрашивал Анатолий, Тамара Ивановна не вмешивалась. Она и слушала, казалось, вполуха, занятая пристальным и тяжелым изучением обстановки в этом жилье. Двухкомнатная квартира была запущенной, до последней бедности оставалось немного. Ржавые потеки с отставшей известью на потолке, когда-то зелененькие обои, выцветшие, померкшие, разлохмаченные в швах. Мать пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней стадии, есть еще куда падать. Продолжает обманываться, что устоит. Мать с дочерью не в ладах, доходит до крика, а потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспощадный отсчет времени. Большой рыжий кот трется о ноги, вычесывая шерсть, и просительно задирает голову, в глазах тоска...

— Все рассказала? — спросил Анатолий.

— Все.

И тогда, уставив беспощадный взгляд на подружку дочери, Тамара Ивановна отчеканила:

— Вот что, милая. Ты рассказала... как ты рассказала — нам надо сейчас ехать в милицию и писать заявление. Светки-то нет, она пропала. Ты была последняя, кто ее видел. Дядя Володя внизу в машине, Светка к нему не приходила. Мы напишем заявление и еще до утра милиция приедет с допросом. Там другой разговор будет. Так что давай-ка дальше. Ты не все рассказала.

— Я все рассказала.

— Когда вы со Светкой разошлись?

— Не помню точно... часов в пять.

— А когда ты приехала домой?

Лида молча вела какие-то подсчеты; мать ответила за нее:

— Часов в девять. — И сказала дочери без нажима: — Рассказывай, Лидия, затаскают.

Видно было, что девчонка струсилась, уже не только по губам, а по всему лицу стали прокатываться судороги, подсчеты подходили к тому концу, куда направляла их Тамара Ивановна.

— Вы вместе куда-то пошли или поехали? — наступала она.

— Поехали...

И рассказала, сначала под продолжающимися вопросами, а затем уже и без них, говоря и испуганно взглядывая на Тамару Ивановну, пугаясь ее вида и говоря уже с отчаянием, — рассказала подружка, что кавказец, узнав, что они продавцы без товара и ищут работу,

предложил им поехать к своему двоюродному брату, тот ищет таких, как они, потому что ему надо срочно распродать большую партию китайских товаров. Они долго не соглашались, но парень настаивал, показал какой-то документ, говорил, что это недалеко и они скоро вернутся, у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Пока они раздумывали, он остановил машину, затолкал упирающихся девчонок и сказал шоферу, куда ехать. Ехать действительно было недалеко, на бульвар Постышева, в общежитие для малосемейных. В однокомнатной квартире был старик, он сразу ушел. Никакого брата не оказалось. Они просидели часа два, пили чай, парень предлагал вино. Но вино не пили. Всякий раз, когда они поднимались уходить, он кричал: «Придет! Придет!» Это он о брате. Потом стал говорить, что он знает, где брат, надо поехать к нему, тут тоже недалеко. Чтобы выбраться из этой квартиры, они согласились, хотели обмануть его. На машине ехать отказались, пошли на трамвай. Парень взял Светку под руку и не выпускал. На трамвайной остановке было много народу, но он все равно не выпускал, как она ни вырывалась. Там, на остановке, она от них, от этого кавказца, вцепившегося в Светку, сбежала.

Ко всему была готова Тамара Ивановна, но все равно как топором ее оглушило. Анатолий расспрашивал, как найти это общежитие для малосемейных; девчонка, повторяя «визуально», «визуально», нравящееся ей, очевидно, звучанием, как и большинство чужих слов, довольно толково рассказала, где оно и как отыскать квартиру.

Возле общежития Тамара Ивановна и из машины выходить не стала, сидела, уставившись в темноту, дышала с подсвистом, как больная, и ничего, кроме затвердевшей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала. Чувствительность и боль нахлынули потом, когда, воротившись домой ни с чем, встала она в одиночестве возле кухонного окна под наплывающие и все жуткие, все обдирающие сердце картины того, что могло быть со Светкой.

Муж называл Тамару Ивановну телеграфисткой. Она и верно начинала в городе с того, что работала после курсов на телеграфе и усвоила, не будучи от природы словоохотливой, четкий и сжатый стиль разговора. На болтливость она смотрела как на распущенность, как на неумение владеть собой, и попервости, как сошлись, нередко с удивлением и даже с некоторой завистью к не свойственному ей таланту, останавливала Анатолия, любившего пускаться в длинные рассуждения:

— Удила бы тебе от уздечки под язык, чтоб поменьше молот! Гнет бы какой, чтобы он усталый знал, не балаболит, как заводной, — и прищуривала свои красивые карие глаза, видя, казалось, всю гору мякины, которую мог он намолоть, если не остановить.

Он не оставался в долгу:

— На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, — подрезают же ребятам в детстве, когда он вырастет в гортань, как полено. А эту девочку упустили, она только и знает, что тпру да ну!

— Тпру-у! Замолчи, ботало!

— Вот-вот.

И — как накаркала Тамара Ивановна: в последние годы прикусил Анатолий язык. Такой гнет свалился на них, так придавил, что и сказать оказалось нечего, всякое слово, если не произносилось оно для самой простой житейской надобности, стало представляться не просто пустым, а и чужим, словно бы сказанным по наущению через тебя для твоего же унижения.

Они оба были крепышами, прочно и аккуратно сбитыми по одной мерке, вызывающими, когда шли рядом, удовлетворенные взгляды — как от хорошего сорта чего бы то ни было. Она ходила по-мужски, уверенным и размашистым шагом, «ступью», как говорили раньше, желая сказать о весомости шага, чувствуемого землей. Да и все делала с заглубом, с запасом: если разводиластряпню, то на две семьи; картошки накапывали,

капусты насаливали больше, чем могли съесть, и корила себя за это, и ничего не могла с собой поделаться, а оказалась права, когда наступили времена, что любого запаса стало мало. К Анатолию присматривалась почти год, прежде чем сказать «да» и позволить себя обнять; через год после дочери родила сына и сразу же пошла на третью беременность, да жестокая желтуха заставила отказаться от родов. Почти до тридцати годов носила русую косу во всю спину — из одного только упрямства, из сопротивления моде, по которой весь женский пол поголовно смахивает косы, как связанные овцы шерсть, — пока не прочитала в одном из старых журнальных советов, что невысоким и широколицым девушкам коса не идет. Ну, не идет так не идет — всему старому она доверяла больше, чем новому, — и смахнула, а потом долго смотрела на себя в зеркало с досадой, будто все сразу в ней, и без того не рослой, стало короче — и ноги, и руки, и шея. И больно кольнуло, когда Светка, в пятом, кажется, классе запросилась под ножницы: ну как девочке без косы, прямо разор какой-то, ведь не косу она в малолетстве убирает, а жизнь направляет. Мода? Да что это за владычица такая, что все перед ней на колени, никто устоять не моги?! Торговка это, устраивающая перемену товара, наживающаяся на всецветном раболепии. Но и сама одевалась хоть и не броско, но по моде, дав моде притереться в народе, приглядевшись, что в ней хорошо и что нет. Джинсы — да ведь это крепчайшая, хоть на камнях дери, ткань; эту моду давай сюда. Кожаные куртки пошли — да ведь кожа испокон была у нас в носке, забыли о ней по великой бедности, а миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике, да не на какой-нибудь, а на кожаной, и фабрика эта к той поре станет называться фирмой.

Она рано убежала из деревни, еще и семнадцати не исполнилось. Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нем. Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже, но кончалось, за малыми исключениями, одинаково — загубленной жизнью и бабьей обездоленностью. Пovyдергают у не опытной еще, еще не запасшейся умишком девчонки перышки, а там лети. Тамара Ивановна могла считать себя везучей — при надежном муже и неиспорченных детях, умевшая оберегаться и от безоглядного сломяголовства в опьянении новизной, и от цыплячьей доверчивости, этими двумя нетерпеливыми вожатыми, которые и приводят деревенских девчонок к беде. Тамара Ивановна продвигалась вперед неторопливыми и выверенными шагами, выстраивая свою судьбу как крепость, без единого серьезного ушиба, только дальше и дальше.

Но странная это была прямоходность — не подхватывающаяся из одного в другое, не выматывающая одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью, а топорщилась эта нить на подвязах узелками. И все подвязы имели начало там, в деревне. Родилась девочкой — значит должна была, в свою очередь, рожать, обихаживать и воспитывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети живы-здоровы и знай себе растут под родительской опекой, казалось, и быть не могло; не считать же за ошибку повторяющуюся беременность... Но и это только казалось. В телеграфистки пошла — запала в память прочитанная в детстве книжка о молодых радистках на войне. Читала она ее летом на сеновале, прячась, чтобы не нашли и не помешали. Все вокруг звучало и пело в торжестве сытой природной жизни, надрывались петухи, утомленно и гулко трубили возвращающиеся с покотины коровы, напевали ласточки над головой на крыше, тархтел трактор на холостом ходу, то взывая мотором, то переходя на усталый бормоток. В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему наосу, слабый ветер. И мать кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-а-а!», прерывая себя коротким и нетерпеливым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» А Томка, как в младенчестве, уткнувшись лицом в открытую книгу, чтобы ее не было видно, выжидала, когда стихнет зов, и снова хватала, хватала воровато куски из книги и никак не могла насытиться.

Ничего в памяти из книги не осталось, кроме того что героиня в чувственном отчаянии посылает в эфир признание в любви молодому лейтенанту, отозванному в другую часть, те самые слова, которые она не решалась сказать при встречах с ним. Но осталась затаенная

мечта тоже что-то посылать в эфир, в это могучее и прекрасное пространство, посылать личное, несказанное, такое, отчего вознеслась бы сразу и расцвела вся ее неказистая жизнь. Остался звучащий на разные голоса, но одно выпевающий, одно обещающий, как оркестр, небесный простор, и то счастливое до блаженства состояние, когда она, покачиваясь, как на волне, вздымаясь и опускаясь, плыла и плыла по его золотистому безбрежью. И, наткнувшись в городе на объявление о наборе на курсы телеграфисток, ни минуты не сомневаясь, она по нему и пошла.

Два года проработала на телеграфе — все не так, как мерещилось. Сначала нравилось, но больше, пожалуй, от тихой гордости собой: захотела и исполнила свою грезу, ничто не смогло остановить. Потом стало обречь давить однообразие работы и унылые тексты телеграмм, которые можно уложить всего-то в десяток образцов: поздравления, оправдания, просьбы, похороны, рождения, приезды и отъезды... Стали замечаться и дым коромыслом в туалете от курящих девчонок, и неинтересные, неискренние разговоры в коридоре, и грубость старшей по смене, и выжженный электричеством воздух в операторской. Оказалось, кроме того, что и душу ей послать в эфир некому. Она ушла из телеграфисток, так и не взлетев ни разу в это великолепное и гулкое пространство, по которому лучиками и звездочками мчатся навстречу друг другу неземной любви признания.

Отец научил Тamarу в четырнадцать лет водить мотоцикл, в пятнадцать она села за машину. Поэтому, недолго размышляя, чем ей заняться, пошла она после телеграфа на курсы шоферов, а потом устроилась на автобазу облпотребсоюза, где и встретила с Анатолием Воротниковым, своим будущим мужем. Он, как это и заведено было среди мужиков, все звал ее в напарницы для дальних рейсов, пока она не ответила насмешливо:

— Зовешь, а сам боишься: а ну как соглашусь!

Он с растерянным смешком согласился:

— Боюсь. Заклюет братва. Но и не хочу, чтоб ты к другому пошла в напарницы. Тогда уж лучше ко мне. Я не обижу.

Кончилось тем, что она пошла к нему в напарницы для самого дальнего и тяжелого рейса — для жизни.

В шоферах ей нравилось. Любила она, когда в дороге на нее оглядывались — женщин за баранкой тяжелых машин тогда было раз-два и обчелся, и на тракте, во встречном потоке, парни в мгновенном ухажерстве вскидывали дурашливо руки, округляли глаза, сигналили, а пожилые, с большим стажем, водители, должно быть, фронтовики, одинаково склоняли головы и прикладывали руку к виску, отдавая честь. Нравилось ей это дорожное братство людей, занятых тяжким и важным делом. Любила ровное гудение мотора, свист разрываемого воздуха, стукоток кузова за спиной, научилась чувствовать, будто в себе самой, и натяг мотора, и тяжесть груза, и то, как он уложен, и меру сцепления резиновых скатов с асфальтом. Особенно любила утренние и вечерние часы в дороге; утром свежо, воздух упругий, тело после ночи отдохнувшее, ловкое, жаждущее движения, словно бы разматывающее и разматывающее, как лебедка, силы, и машина тоже все разбегаются и разбегаются, становится все мощней и послушней, и вздохи ее при переключении скоростей все легче. Вечером, особенно осенью, при заходящем солнце, оно, большое, наплывшее, играет с нею, перекидывается с левого борта на правый и обратно, приседает совсем низко к горизонту и вдруг откидывается, ищет для прислона неколючий выгорбок; в небе плавно качаются большие птицы; кружатся перед глазами разряженные перелески; капот разрисован травяной пылью причудливыми картинками. Вечерами в уставшем теле является какая-то особенная, спокойная и зрячая, все замечающая, на все откликающаяся, любовь к жизни.

Ей досталась крепкая, ходившая в хороших руках, машина ЗИЛ-130 и она года два не знала с нею горюшка. А если где в дороге приходилось притормаживать и задрать капот, склоняясь над ходовым хозяйством, уж как пить дать скоро кто-нибудь подъезжал и предлагал помощь. Тогда это было делом обычным. Но она и сама хорошо разбиралась в машине, тоже с деревни еще, от отца. Да и в дальние рейсы ходила мало: не приспособлены они для женщины. На постоянных дворах одно мужичье, так что и места не найти, назойливое

внимание, грубые шуточки. И она стала соглашаться только на поездки, укладывающиеся в день. На базе их, женщин за рулем, было всего трое; одну, разбитную безмужнюю Клавку, называли почему-то Брашей и распевали:

Куды Браша, туды я,
Туды я, тудыт меня...

Вторая, с двадцатилетнем стажем за рулем, крупная, с вырубленным грубо лицом, пугающая Тамару своей мужиковатостью, бесстрашная и громкая Виктория Хлыстова не боялась ни начальства, ни мужиков, ни дорог, ни постоев. И начальство, и мужики ее побаивались. Глядя на нее, бабе можно было поучиться постоять за себя в мужичьем коллективе, но заодно надо было учиться и не перебирать в этом умении до потери в себе женщины. Главный же урок, который выучила Тамара Ивановна, присматриваясь к Виктории, было понимание, что нельзя тут, среди этого неженского дела, задерживаться надолго, иначе и сама не заметишь, как превратишься в железяку.

Она уходила по беременности, но на родившейся девочке не остановились, вслед за первой беременностью решились под запал на вторую — и ушла совсем. Маленьких надо было устраивать в ясли — и устроила бы, упорства ей не занимать, но как представишь: утром чуть свет бегом тащить их, полусонных, силою вырванных из постели, одну на своих ножонках, упирающуюся и всхлипывающую, второго на руках, а потом вприпрыжку на работу, вечером надо вовремя поставить машину, вовремя забрать ребятишек домой, а что такое на разъездной грузовой машине «вовремя», там все часы, весь порядок кувырком; как представила все это, надрывающее ребятишек и себя, и с решительностью, привыкнув все делать решительно, устроилась рядом с ними нянечкой. После шоферов — попки вытирать; после мужской, полетной удалой работы — внаклонку, чуть не ползком, в глухих стенах, всегда с мокрыми руками; после упругого, струйного, песенного звука мотора — беспрестанно вязкий и надрывный крик. «Ну, развели опять ораторию», — добродушно ворчала заведующая, рыхлая и томная бурятка с печальными глазами и больными ногами, по имени Олимпиада Иннокентьевна, всегда, зимой и летом, кутавшаяся в пуховую серую шаль. Тамара Ивановна, толком не зная, что такое оратория, воображая только, что это должно быть что-то громкое и напыщенное, что поется в театре, полюбила это слово; пройдет три года, она сама поднимется до заведующей и, точно так же входя в ползунковую группу, с которой начинала и в которой никогда не стихал надсадный ор, будет с удовольствием повторять: «Развели опять свою ораторию» и с насмешкой смотреть на себя в большое, в рост человека, дымного стекла зеркало в прихожей, не переставая удивляться, как она здесь оказалась. У нее было острое, как у животного, чувственно сильное восприятие жизни с необыкновенно развитым обонянием, перелившимся, должно быть, из глубокой древности, еще в детстве она различала запахи даже в ключевой воде, которую пила; ей казалось, что она чувствует приближение опасности из самого воздуха, когда он только еще занимается тревогой, и шесть лет, отданных садику, казались ей не жизнью, а робким и невнятным топтанием возле жизни, словно ходишь, ходишь кругами рядом, а решимости проникнуть внутрь не хватает. Ей этого было мало, ее натура требовала большего. Но что же! — отслужить эту службу ради ребятишек надо было, и Тамара Ивановна ни разу не позволила себе пожалеть о своем затянувшемся сидении с сопливыми ангелочками.

Потом ребятишки пойдут в школу, и быстро рассеются у нее воспоминания о яслях-садике, будто их и не было. Останется в памяти почему-то рослая грудастая деваха Евдокия с широким красивым лицом и тяжелыми руками и ногами, с напористым эхозвучным голосом, за который ее прозвали Сормовской — в честь знаменитого волжского завода. Дуся Сормовская числилась воспитательницей в садиковой группе и в свои восемнадцать лет нажила закоренелую страсть не ставить ни во что мужиков. Всякий раз, изготавливаясь к атаке, она находила против них столь серьезные доводы, что спорить с нею было трудно. Ясельные и садиковые группы соединял тоннелеподобный полутемный

кирпичный коридор с узкими и высоко задранными бойницами окон, гулкий и неудобный, из него и выплывала Евдокия с припухшими от скуки большими ленивыми глазами, не знавшими краски. Ее тут же кто-нибудь поддевал:

— Не влюбилась, Сормовская? Никакой мужчина еще не зауздал тебя, кобылицу?

— Муж-чина, — презрительно растягивая слово, Дуся кривила полные, аккуратным ровиком округлившие рот губы. — Вы только посмотрите: муж-чина... А почему мужчина? Это слово женского рода. Женщина, к примеру, это она, она и есть женщина. И мужчина тоже она, а не он.

— Как же не он? А кто? Что ты городишь? — обязательно находился кто-нибудь, и не из девчонок, а из поживших, пожилых баб, кто тут же втягивался в спор.

Дуся неторопливо выбирала место, где шевелящихся под ногами карапузов было меньше, прочно устанавливалась на нем раздвинутыми ногами под короткой юбочкой в обтяжку, и принималась вразумлять:

— Название-то не мужское. Посмотрите. Муж-чина. Скарлатина с таким же окончанием — это она, скарлатина. Скотина — она. Щетина, ангина, равнина — все она...

— Дружина, дрезина, резина, калина-малина, стремнина, осина... — наперебой начинали подсказывать воспитательницы.

— Пропастина, образина, кручина, лучина, пучина, картина, турбина...

— Вот! — торжественно провозглашала Дуся. — И что из этого выходит?

На Дусю смотрели насмешливо и обескураженно: в самом деле что-то не то выходит. Ползунки и те, взволнованные собранием, задирали головёнки и застывали.

— Не может быть! — подавался опять голос в защиту мужчины. — Должны быть мужские слова.

— Говори, если должны быть.

— Сразу на ум не приходят.

— И не придут. Нету таких слов. Русский язык давно разобрался с этим мужчиной. Кисель он, студень... одно выражение мужское. Выраженец.

— Евдоки-и-я! — раздавалось из садикового отсека. — Сормовска-а-я! Эй вы, ясельки! Турните вы ее от себя, чтоб место знала! Христом-Богом молим: турните! У нее ребятишки убиваются, а она дурью своей бродит трясет!

Дуся сочувственно кивала на крик и выстанывала мощный, трубный вздох из одной истинной правды. Бабам не хотелось отпускать ее победительницей.

— Что ты так на них окрысилась-то? — спрашивали ее. — Как на вражину! Чего тебе от них надо?

— Чего надо! Мужика хорошего надо. Чтоб промял до кости, повытряс гонор-то. Сразу шелковой станет.

— Ребятенков своероженных надо. Втрескаться надо так, чтоб из глаз искры сыпались.

Дуся, уходя, отдразнивалась:

— Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Прозявили жизнь попусту, а теперь оправдание себе ищите.

...Ушла Тамара Ивановна из садика, когда вслед за Светкой подоспел к школе и Иван. Больше ей делать там было нечего. Будто вместе с выросшими дочерью и сыном вышла она из возраста, который доставлял удовольствие и терпение возиться с малышами. Как у роженицы появляется грудное молоко для кормления ребенка, а потом в свой срок исчезает, почувствовала она в себе вычерпанность от долгой нутряной истяги. Будто однообразные и невыразительные круги крутила над солнечной сердцевинной жизни. Захотелось движения, жизни, физической усталости от здоровой работы.

Утром, так и не приклонившись к подушке, она подняла Анатолия рано: надо было что-то делать. Он, поспавший, но не выспавшийся, пил крепкий чай и, зевая, оглаживая лицо, снимая с него сон, одурь и нерешительность, сидя в кухне напротив окна, угрюмо

смотрел в него по тополям, только-только выпустившим зелень. Воздух, окаймлявший ее, был фиолетовый, без солнца. Подошла Тамара Ивановна и села напротив.

— Ну что, отец, делать будем? — требовательно спросила она, выставив руки и сцепив пальцы в замок.

— Не знаю, мать, — в тон ей ответил он и отвел глаза. — Не знаю.

Она посидела еще, маятно откидываясь назад и оборачиваясь к окну, возле которого ночью высмотрела глаза до синяков под ними, и вдруг стукнула кулаком по столу, крикнула в никуда:

— Да как же так!.. — и вышла, удивленная собой.

Анатолий соскабливал с лица выросшую вдвое гуще за вчерашний вечер щетину, когда позвонил Демин. Он даже и вопроса не задал, ждал, что скажут.

— Нету пока, — сказал Анатолий каким-то новым, прыгающим голосом.

— Я у себя буду, в киоске, — объяснил Демин. — Если часам к десяти пришлете мне кого-нибудь из девчонок... лучше ту, которая видела его вблизи... Мы бы с ней прошлись по рядам.

— Понял.

Иван спал, поднимать его не стали. Спал он на узком и длинном диване, занимавшем в проходной комнате, которая считалась гостиной, почти всю лобовую стену, едва оставив место для двери в Светкину комнату, сейчас прикрытую... Дверь в родительскую спальню была слева, в двух шагах от дивана, из нее и падал свет на погруженного в сон парня. Окно в гостиной оставалось зашторенным. Иван развалился на спине, свесив правую ногу и чуть покачивая ею, точно баюкая себя; лицо с тонкой девичьей кожей подрагивало — как от пробегающих сновидений. Тамара Ивановна постояла возле него, слепо и натужно всматриваясь: вот он здесь, а где сейчас Светка? — и решительно направилась к выходу.

На улице уже было людно — торопились на работу. На остановке стояли большой покорной толпой, развернувшейся влево, откуда ждали троллейбуса. Беспрерывным потоком, припуская и с ходу приседая, катили машины; поток этот где-то впереди запрокидывало и разворачивало второй стороной улицы обратно. Небо в дымчатом, тонкорунном покрове быстро белело и таяло, взблескивая голубыми провалами. Троллейбус постоянно дергало со скрежетом, плотно один к другому стоящих в проходе грузно раскачивало, оживляло до вскриков. Второй троллейбус, в который пересели возле кинотеатра на пересечении двух потоков, заполнен был пожилым энергичным народом — дачниками, выбиравшимися за город. Они без стеснения переключались, громко обсуждали пользу лунного календаря для посадок на грядках, уговорили кондукторшу, вьюном вьющуюся среди них молодую низкорослую девчонку с хриплым голосом, притормозить троллейбус между остановками, откуда было ближе до пригородного автобуса, — вели себя, словом, как именно те люди, дело которых абсолютно правое. И ехали в двух троллейбусах не более получаса, а уж небо очистилось, последние кудряшки с облаков стягивало за горизонт за рекой. Солнце открылось, трепетала от его тяги мелкая, еще не раскрывшаяся, листва на тополях и кленах и стоял в них воробьиный гвалт. День обещал быть жарким.

Нашли опять общежитие для малосемейных, в котором ночью побывал Анатолий. Подняли опять старика, хозяина однокомнатной квартиры в конце правого коридорного рукава на третьем этаже. Коридор был узкий, запущенный, с закопченными избитыми стенами, доведенными до такого отчаяния, когда на них появляются неприличные надписи. Запущенной оказалась и маленькая квартира, где все было стеснено до последней степени — и комнатка, и кухонка, и низко нависал потолок, и тускло смотрели в улицу всего два окошка. Старик стоял перед ними в донельзя заношенной, сетчатой от дыр, майке и в щеголеватых спортивных штанах с фирменными надписями вдоль по штанинам. Лицо заросшее, неглупое, мелкие слезящиеся глаза в мутной раске.

— Что не спрашиваешь, кто идет? — напористо начал Анатолий. — Или все, кому не лень, к тебе идут?

— Все идут, — скрипуче и спокойно отозвался старик и продолжал смотреть на

Анатолия.

— Я ночью у тебя был... не помнишь?

Старик нехотя вспомнил, махнул рукой, чтобы проходили, проследовал поперек по коридорчику в два шага и скрылся за дверью в кухне, зашумел там водой. В комнатке Тамара Ивановна мгновение осматривалась, решительным движением подняла с пола валявшуюся на боку крепкую, выкрашенную зеленой краской, табуретку, увидела, что сидение чем-то, должно быть, топором, истерзано до щепы, с бряком вернула ее в прежнее положение и опустила на нее — будто подсеклась. Перед нею был журнальный столик с остатками еды на газетах, и она, прямя спину, отшатываясь, все смотрела и смотрела неотрывно на засохшие куски хлеба и испорченные консервные банки. Кончики ее рта, выдавая сильное волнение, подергивались.

Вышел старик, приободренный умыванием, с продравшимся из глаз взглядом, в постельном ворохе на низкой лежанке за журнальным столиком отыскал рубаху, которая ночью служила ему наволочкой, повертел ее, донельзя изжужульканную и засаленную, в руках и кинул обратно. Анатолий продолжал торчать на ногах; старик все так же неторопливо, не теряя какого-то последнего достоинства, сгреб ночные тряпки в угол лежанки и пригласил:

— Садитесь. В ногах правды нету.

— У тебя тут ее ни в чем нету, — Анатолий продолжал говорить требовательно, напористо.

— У меня тут одна правда, — не согласился старик, вздергивая голову в сторону одного угла комнатенки, потом другого. — В таких хоромах врать не тянет. Да и вообще... кто теперь самые честные люди? Кто до края дошел. Ползают, как черви, портят картину, но если украл кто у такого же, как он сам, две пустые бутылки... спроси его: украл? «Украл», — скажет и отдаст две пустые бутылки обратно. А к другому, к серьезному воровству нашего брата не подпустят, за нашим братом такой надзор, будто это он и съел великое государство.

— Из интеллигентов, что ли?

Старик покивал Анатолию:

— Из них. Я понимаю вашу иронию: любить их не за что. Я тоже их не люблю. Но я-то больше из разночинцев буду, — поправился он с усмешкой, показавшей редкозубый рот. — Много чинов перебрал. А вот друг мой... это он здесь хозяин, не я... он из интеллигентов, из них, да... бывший интеллигентный человек.

— Ты не хозяин? А где хозяин?

— А помер, — весело сообщил старик, переводя засиявшие глаза с Анатолия на Тамару Ивановну. — Мы с ним друзья были не разлей вода, — он хохотнул, сделав ударение на последних словах. — Вместе приходили, вместе уходили. Вместе об землю падали, вместе на ноги подымались. Один раз было... вместе по лесенке скатились. У одного правая щека рассеченная, у другого левая. Пожалуют к нам гости, мы рады. Приедут, придут — уходите, старики, на два часа. А то на всю ночь. Денег дадут... уходим. Только скажем: ключик оставьте у дежурной, внизу. И дежурную побалуйте, она старица бедная, конфетку любит. А летом хозяин, друг мой, помер... Он был до того одинокий, что совсем без родни жил.

Анатолия передернуло. Взглядывая на Тамару Ивановну, неподвижно и прямо застывшую на боковине лежащей табуретки, он продолжал допытываться:

— А ты, значит, выдаешь себя за хозяина и живешь в его квартире?

— Я ни за кого себя не выдаю, — с удовольствием отвечал старик. — Я прихожу и ухожу.

— И никто не догадается турнуть тебя отсюда? Развел притон и доволен?

Тамара Ивановна перебила мужа, рывком подаваясь к старику:

— А вчера... вчера на сколько было сказано уйти?

— Сказано было: до восьми часов. Я уж в сумерках пришел — фатера моя свободная.

— Сколько их было? — опять Тамара Ивановна, уже подымаясь.

— А комплект. Два парня, две девчонки.

Анатолий поправил, замирая:

— Один парень, две девчонки...

— Как так? Один парень две девчонки попервости пришли, второй парень потом подошел, я еще тут был.

Анатолий содрогнулся так, что подскочили плечи:

— Убивать надо таких!..

— Да надо бы, — согласился старик и уступил дорогу: гости торопливо уходили.

Обманула подружка Лида. Поймали на вранье, пригрозили милицией, она чуть добавила правды, чтобы звучало убедительней, и все-таки обманула. Бросились, поймав частника на зеленой «Ниве», опять в микрорайон, долго звонили во входную дверь, за которой жила подружка, принялись колотить в нее кулаками — открыла наконец заспанная, в тяжелой полудреме от чего-то дурного, мать подружки, не сразу признала в Тамаре Ивановне и Анатолии ночных пришельцев, а взглядевшись, признав, не говоря ни слова, развела руками: нет Лиды. Покорно пропустила мимо себя рванувшегося вперед, уже ничему не верящего Анатолия, и не пошла за ним, ждала, привалившись со сморенными глазами к стене, пока не выйдет. Так и стояли по разные стороны распахнутой двери две матери, не глядя друг на друга и не понимая уже, почему они так стоят и что происходит.

Нет, сколько ни откладывай, а надо заявлять в милицию. Частник, толстогубый мужик лет пятидесяти, с иссеченной в мелкую сеточку кожей на толстом лице, истомившийся за дорогу в микрорайон от тяжелого молчания, когда дальше адреса разговор не пошел, встретил своих пассажиров вопросом:

— Нету?

— Нету, — сказал Анатолий.

— А чего нету? — оживляясь от ловкости, с какой поймал он молчунов на крючок, подхватил частник, оборачивая к своим пассажирам на заднем сиденье плутоватое лицо.

— А ничего хорошего, земляк, нету.

Тамара Ивановна сразу опять оцепенела, уставившись глазами прямо перед собой на дорогу. Но ничего, кроме воспаленного солнечного пятна, прыгающего перед машиной, она не видела. Внутри, там, где полагается быть чувствам, сменяющим одно другое, залег камень, и он начинал раскаляться. Она физически ощущала этот нагрев от пыточного огня. Верилось, что можно еще отодвинуться от него, что для этого надо лишь сделать усилие над собой, но не было никакого желания искать себе облегчение.

Потом она долго будет вспоминать это мгновение. Вдруг какая-то торопливая и вороватая истома, невесть откуда взявшаяся, ворвалась в нее, пробежала сверху вниз от груди на живот и, настегивая себя, напетливая холодными лапками, закружилась там, пока не нашла ход и не скользнула в него, пронзая жутью. Тамара Ивановна замерла, такого с нею не бывало. Она перегнулась в животе, чтобы придавить этот мышинный катышок, но продолжала чувствовать, как схватками ноет и ноет внутри, опускаясь все глубже и неприятней. Это происходило с нею и в ней и как бы не в ней, как бы в какой-то скрытой раздвоенности и повторенности, в каких-то притаенных створках, до этой поры не дававших о себе знать. Катышок все метался, все тыкался в стенки и точно раздвигал их, в исподе чутливо отыскивал свой испод, проникал внутрь, затихал ненадолго и вдруг суматошно принимался кружиться, как бы догоняя свой хвост и заполняя круговоротом норку — и от этого крутящегося клубка, пускающего электричество, по всему телу проносились колючие пронизи. Тамара Ивановна вся сжалась от переполнявших ее гадливости и испуга: откуда-то ведь это должно было взяться? Что это, откуда, почему? Она уже готова была остановить машину, чтобы выйти и хоть на голову встать, но стряхнуть с себя эту пакостливую тварь, но постепенно стало отпускать, постепенно под руками, сдавившими испуганное место, наступило затишье.

Возле дома Тамара Ивановна вышла из машины одна, Анатолий поехал на рынок к Демину. Когда требовалось идти на что-то совсем уж тяжелое, она невольно нагибала голову, изготавливаясь пробить ею любую стену, — так и теперь, набычившись, она решила, что телефонные звонки возьмет на себя. А уж после... И после того, как повидаются с Деминым,

после того, как ничего другого больше не останется, пойдут подавать в розыск.

Это походило на веревочную лестницу, раскачивающуюся на убийственной высоте, по ней, не сорвавшись, надо подняться на твердую площадку с поручнями. Устроившись перед тумбочкой с телефоном на детской табуретке, которую мастерили когда-то для нее же, для Светки, Тамара Ивановна набирала номер за номером, слушала резкие, требовательные гудки, доставляющие ее в разные концы города, потом отзывался голос, всегда женский и всегда недовольный, который заставлял ее однообразно думать: «Стервы же мы, бабы!» — голос на минуту-две отступал, перебирая бумаги, и со сдержанной, подобрешей переменной от результатов поиска сообщал: «Нету такой». Еще одна ступенька извивающейся под ногами веревочной лестницы оставалась позади: Светки в этой больнице не было. Ее не оказалось ни в одной больнице, которые перебрала Тамара Ивановна, и, дав себе передышку, она осторожно и тупо, не надавливая на слова, жевала не ахти какой мысли жвачку: «А хорошо ли это, что ее там нет? Не лучше ли было бы, если бы какая-никакая, а была?»

Она снова взялась за телефон, и веревочная лестница под нею закачалась еще сильнее от порывов ветра, поднятого словом «морги». Тамара Ивановна нашла его в справочнике, выписала с четырех столбцов цифры, на разный манер повторяющие его, и принялась накручивать на диске эти цифры, гулко отдающиеся в сердце и в той пустоте, куда они улетали. Теперь отвечали молодые мужские голоса, ни один из них не был ни пьяным, ни ироничным, но трое, как машины, произнесли совершенно одинаковое «не присутствует», а четвертый, должно быть, постарше, взялся объяснять, что девочки этого возраста к ним попадают так редко, что можно сказать, не попадают совсем. Содрогнувшись от перенесенного испытания, Тамара Ивановна поднялась с низкой табуреточки, ноги ее, затерпшие в неудобной позе, заплелись, и она едва успела ухватиться за диван. Так и ткнулась лицом в измятые Ивановы простыни, стоя на коленях, бессознательно потеряла их в руке, вспоминая, когда она в последний раз видела сына, и, встав на ноги, с тяжелым и пристальным вниманием осмотрелась вокруг как в незнакомом месте. И уходила — будто спячивалась от чего-то, по-хозяйски расположившегося в квартире... Она не могла понять, почему Иван, парень аккуратный, так же, как и Светка, не прибрал за собою постель и выскочил куда-то в такой спешке, что, похоже, не помнил себя.

Сколько помнила себя в детстве Тамара Ивановна, кормились они лесом да Ангарой. Кормились во всех смыслах, потому что отец был лесничим, огромные владения, числящиеся за лесничеством, располагались на левом берегу Ангары, а деревня лежала на правом, в тех местах, где балаганская степь переходила в тайгу. Уже через пять-шесть десятков километров тайга побеждала полностью, только и оставалось от степи, что большие поляны, отороченные березой, клином вонзающиеся в леса, с высокими травами для покосов. Но в тех местах, за пять-шесть десятков километров по сбегу Ангары, Тамара Ивановна не бывала, она знала только левобережную тайгу, которая и напротив степных раздолий стояла сплошной стеной. Здесь тоже поднималась вода и селениям тоже пришлось перекочевывать, но, в отличие от низовий, недалеко, распах запруженной в Братске Ангары здесь уже терял свою мощь. И Ангару не перестали называть Ангарой, в море, хоть и рукотворное, разливом она не вытягивала. Только очень изменилась, запустила и зарыхлила свои раздвинутые берега, затянула песочек тиной, извела родную рыбку — хариуса да ленка, при воспоминании о которой бежала слюнка, остановила свой бег, постарела. Но переселение деревни не оставило тяжелых впечатлений: в тех же жили избах, в том же порядке стояли улицы. И небо осталось в том же растяге, без углов и запаней, какие появляются над искривленной землей.

Отец Тамары Ивановны Иван Савельевич Радчиков прошел войну счастливым: два ранения и оба легких, домой вернулся в целостности-сохранности, жену взял из деревни неподалеку, из Чичково, об этой деревне говорили, что там девки «чичкастые». Он умел все — и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с любыми машинами, и брать

зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и ночевать в снегу в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же наследственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сначала нарисуй себе в голове, что надо сделать, до всякой загогулины нарисуй, а уж опосле и берись без оглядки». И еще наставлял: «Всякое дело имеет свой ход, его чуют надо. Поторопишься — сякотак может выдти, задержишься — размер сорвешь. Всякое дело надо в свой размер уложить».

Отец без скидки учил свою Томку тому же, что давал сыновьям. Один брат был старше ее на три года, второй на два года моложе. Дочь принялась лнуть к отцу рано, еще не опали ангельские крылышки за плечами, почуяв чистым сердечком его доброту и покладистость и разглядев особое непрекословие в отношениях с матерью. Мать была упрямой, вспыльчивой, от нее «летели искры», и отец не однажды острил, что ему спички не нужны, «дети, где мои папиросы, прикуривать буду от нашей Степаниды Петровны». Он подтрунивал над матерью, что без него она, «чичковская столбовая дворянка», кипит больше, а он действует на нее успокаивающе. Было, конечно, наоборот, но даже опытная по части его проделок мать становилась в тупик перед его непробиваемой безмятежностью. У отца было свое объяснение того, как, каким макаром и до деревни докатилась мода в семьях командовать бабам. Он считал, что произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от чистого сердца и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай рвать губы железной уздой. «Вот та-ак», — горько вздыхал Иван Савельевич и поводил своей крупной, под машинку выстриженной, головой, проверяя степень свободы. Отец взял за правило в споре не добиваться своего, он своего добивался за спором, кружным путем, и мать не замечала, как, каким образом она опять скатывалась с высоты, на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ. От этой новой атаки отец принимал такой несчастный вид, что дочь приходила в восторг, в восторге била ножкой о пол или забавно, надувая и без того толстые щеки, закатив глаза и прищлепывая губами, фыркала как-то странно и резко, по-совиному. Мать бросалась ее успокаивать, а отец исчезал и оставался при своих интересах.

— Ты знаешь, Степа, — говорил он чуть погодя миролюбиво, — Томка у нас в тебя. У нее будет сильный характер, на ней не поездишь.

Характер у Тамары Ивановны и верно был материнский, но как бы обработанный отцовскими инструментами, всякими там крошечными напильниками, наждачными шкурками, лобзиками — всем тем, что в огромном количестве, частью приведенном в порядок, а частью разбросанном как попало, жило в мастерской. И все же там, внутри характера, находился кремень. С годами она научилась управлять своим настроением, оно не вспыхивало и не взрывалось разом, как молния и гром, а натягивалось, подобно мороку, постепенно и шумело без накала.

В двенадцать лет дочь хорошо стреляла из тозовки и из берданки, в пятнадцать села за руль лесхозовского «уазика», через год освоила трактор, сначала колесный «Беларусь», затем гусеничный «ДТ-54». И, начиная с пятого класса, стала учиться хуже, хотя и без двоек, и так до последнего, до восьмого. В школе ей было неинтересно, хотелось воли, движения, удовлетворения практического интереса, приближения к опасности; в школе она отбывала повинность, которая чем дальше, чем становилась тяжелей. В последние деревенские годы очень сдружилась с младшим братом, Николаем; в семье про него говорили, что он не от мира сего: мягкий, затаенный, с постоянной задумчивой улыбкой и продолжительным взглядом. Любил уплывать с ружьем за Ангару и совсем еще мальчишкой уходить в тайгу с ночевкой, а то и с двумя, стрелял редко и особо скроенную свою душу заполнял тихими и тревожными наблюдениями. Однажды пропал кобель, который был ему за друга, Курган, и он как по увиденному пошел за двадцать верст к Сухому ручью и вынул его из петли на медведя уже бездыханного, а после этого заболел и провалялся в горячке неделю, не изъявляя никакого желания подниматься. Отец стал смотреть на него с печалью: непонятный, скрытный вырастал мужик, впустивший в себя неизвестное терзание. Тамара

Ивановна запомнила на всю жизнь, как он сказал при ней, ни к кому не обращаясь, ни от кого не ожидая ответа, с подступившей самотеком тревогой:

— Одна в парня пошла... хорошо ли это? Одна в парня, а другой — в кого? Что же вы, детки родные, из себя-то повыбирались, как из дырявого мешка?

Но эти слова еще больше подтолкнули ее к Николаю. Он читал книги, и она принялась читать, пересказывая ему из своих книг самое интересное, доставшее ее до сердца. Старший брат, Василий, не понял бы, да он и далеко жил от надуманных книг, занят был серьезными практическими делами и наперед выкроил свою судьбу. Как выкроил, так потом и сбылось. Сначала в город в техникум, затем армия, после нее завод и заочная учеба в политехническом институте, диплом инженера и со временем должность начальника цеха. На Николая он смотрел как на мямлю или как на порченого; старше Николая на пять лет, он чутьем сумел угадать в парнишке расстроенность, которая может испортить жизнь. Тамара брала младшего под защиту, а это, как водится по таинственным законам взаимоотношений, дало Василию право не стесняться: уж если защищаешь, то надо, чтобы было от кого защищать.

Лесничим тогда каких только планов не давали: и веники вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо того, что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ставить зимовья, торить тропы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основной работы. Все лето вся радчиковская семья, кроме матери, не выходила из леса, там, на лесхозовском подворье за Ангарой, и жили, там и баня стояла с каменкой, ухавшей таким жаром, что кожа, как под иголками, потрескивала и волосы на голове секлись. Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от берега, чтоб подгонять рыжик густыми, дающими рост, туманами; как ловко и ладно смотрелись Тамаша и Николаша, когда, подобранные, одноростые, круглолицые, в форменных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзовые сапоги, с непокрытыми русыми головами и с горбовиками за спинами, вставали они на тропу и оборачивались к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать.

Вот так бы и всегда, не дальше этой тропы. Так бы устроиться, чтоб по утрам, вставая на нее, оборачиваться на родную деревню и ступать потом уверенно, как под благословением. Но тропа для деревенской молодежи уже набита была в другие тайги. Первым ушел по ней Василий, через два года засобиралась и Тамара. Отец на проводах выпил больше, чем обычно, и прослезился. В вымощенной плахами ограде он отвел ее к заплоту, за которым начинался скотный двор, встал напротив и, покачиваясь, размахивая перед своим носом разбухшим от работы указательным пальцем, точно не ей указывал, а себе, отрывисто говорил:

— Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропасть — что плюнуть! Там только споткнись — разотрут тебя и не заметят. Держи там себя в уме и строгости. Будешь держать — тебя же и уважать станут. А нет — и тебя нет. — Он вытер ладонью глаза, откашлялся и вдруг совсем трезвым голосом продолжил: — Ну а мы потом куда? Колька уедет — что тут нам делать? Для кого все это? Кольке-то совсем бы не надо уезжать. Выберет там себе стерву... это уж обязательно, таким, как он, это на роду писано... и будет она на нем безвылазно ездить...

Как в воду глядел Иван Савельевич. Уехал в свой черед и Николай, поселился под Иркутском и в том же поселке купили себе потом дом отец с матерью. На глазах у них и тянулась тяжелая подневольная жизнь Николая с криками, слезами и бесконечными ультиматумами, то сходились, то расходились, то прибежал он среди ночи в домашних тапочках, то занимал деньги, чтобы купить себе возвращение к ребятишкам. Затем свалились и вовсе дурные времена, ни работы не стало, ни денег. За три месяца до того, как случиться у Тамары Ивановны несчастьем с дочерью, дошел Николай до последнего отчаяния и поднял на себя руки. Но выжил, притих под тяжелым душевным гнетом и не выходил из отцовского дома. Матери к тому времени уже не было.

То, что казалось страшным и непристойным, произошло обыденно и быстро. Подать заявление о пропаже собственной дочери — да это представлялось Тамаре Ивановне из себя вон, чтобы вытерпеть все оголенные расспросы, язвительные замечания и пугающие намеки. Ничего похожего не произошло. День был жаркий, час пополуденный в четыре, когда вязкое пекло и из камня выдавливает влагу и пригашает порывы. Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалосьлюдно, возле перегородки, за которой сидел перед тремя телефонами бравый сержант с багровым лицом и воловьим терпением на этом лице, толпились люди и стоял гул. Стены в узком коридоре были облеплены стоящими, возле дверей в кабинеты на выставленных обшарпанных стульях можно было устроиться лишь развернув ноги на сторону по ходу коридора.

Каждое помещение имеет дух и вид той жизни, которая в нем происходит. В милиции, даже только что отремонтированной, даже только что отстроенной и обставленной новой мебелью со всеми необходимыми для справления закона приспособлениями и удобствами, уюта создать нельзя. Хоть мраморные колонны ставь, выстилай полы дубом, а стены оклеивай персидскими мануфактурами, но стоит только открыть хоть и хрустальные двери для несчастного народа, проходящего через милицию, и вся эта роскошь через две-три недели примет скорбный и донельзя безутешный вид. Надышит несчастный народ своим горем, обмусолит бедностью и лукавством, натрет домашними раздорами, обнажит раны и язвы. От иных рассказов стены здесь трескаются и потолки качаются, от иных криков привидения мечутся по коридорам. Точно знают это все ответственные люди и дают под милицию самые тесные, темные и бросовые помещения: все равно придет к тому же концу. И несчастные, вливающиеся сюда день за днем непрерывно, теряют последнюю надежду и рвутся скорее обратно на солнце или уж дальше по этапу судьбы, но прочь от этой забившей воздух тревоги.

Тамара Ивановна и постояла в коридоре минут пятнадцать, пока Анатолий пробивался к дежурному, но за это время провели мимо группу ребяташек лет от восьми до одиннадцати, имеющих варначий и веселый вид, очень довольных тем, что их сграбастали и будут вести с ними воспитательные беседы, глубоко уже погрязших в пороке, с мордашками, на которых впечаталась ранняя опытность. Все они были с сумками, в которых что-то трепыхалось, в майках, с голыми, уже черными от загара ногами, почти все обуты в спортивные разбитые кроссовки — точно собрались в пионерский лагерь имени Дзержинского. Был такой, Тамара Ивановна помнила, и находился он неподалеку от поселка, в котором теперь жил отец. Старушка у противоположной стены, маленькая и сухая, бодренько вертевшая непокрытой головой с остатками примазанных белых волос, шевеля губами, вздохнула им вслед. Пожилой, с трещинками, задиристый голос от той стены, возле которой держалась Тамара Ивановна, заинтересовался старушкой:

— Что, бабка, за пенсией пришла?

— За пенсией? — она, должно быть, так много думала и говорила о пенсии, что не удивилась вопросу. Лишь чуть замешкалась с ответом: — В тюрьму проситься пришла.

— А чего в нее проситься? Ты, бабка, туда не торопись.

— А жить негде. Выдавляют меня из фатеришки.

Прошли двое: высокий, плотный капитан в форменной рубашке с темным пятном на спине и подпрыгивающий перед ним, заглядывающий ему в лицо и торопящийся что-то досказать, хромой парень с собранными на затылке и подвязанными волосами. Они свернули к лестнице на второй этаж, и уже оттуда, с высоты, под отчаянный визг ступенек, послышался бас капитана:

— Счас зайдем — чтоб не верещал. Сиди и помалкивай. И глазки от стыда опусти. Я буду говорить.

— А кто из квартиры-то выдавляет? — продолжал разговорившийся мужик с

надтреснутым голосом, и Тамара Ивановна подумала: чего-то боится, страх в себе заговаривает.

Она рассмотрела через головы, что Анатолий близко от дежурного и стала продираться к нему. Дежурный никак не мог отвязаться от какого-то образованного гражданина в синей тенниске, который, называя законы, все говорил и говорил. Дежурный уже не слушал, подняв глаза вверх, и только делал ему огромной рукой ленивые прощальные движения.

— Что у вас? — спросил — как подвинул к себе замешкавшегося Анатолия.

— Дочь потерялась. Она...

Дальше сержант не слушал. Он подтянул к себе дальний телефон, поднял трубку и тою же рукой, не выпуская трубки, принялся набирать номер.

— Товарищ лейтенант? В розыск. Отправляю к вам.

В кабинете на втором этаже, квадратном, с голыми стенами, за одним из трех маломерных, как в школе, столов, сидел в одиночестве, упиравшись животом в столешницу, чернявый лейтенант и пил пиво. Двустворчатое окно было настежь открыто, за ним в тупой бездыханности лежала улица. Лейтенант делал глоток, ставил бутылку и наблюдал, как над горлышком вспучивается пеннистая пробка.

— Пишите заявление. — Он подвинул бумагу, указал на соседний стол и вздохнул: пива оставалось мало.

Писал Анатолий, он еще мог хоть что-то объяснять на бумаге, Тамара Ивановна не могла. Заявление заняло полстраницы, но лейтенант долго в задумчивости сидел над ним, не желая расставаться с приятными ощущениями от напитка, снова вздохнул, на этот раз очень решительно, подвинул к себе лист бумаги и принялся расспрашивать и записывать.

Обратно они уходили вместе с участковым, молодым толковым парнем, еще не уставшим от службы и, по-видимому, добросовестным, считавшим, что он должен знать Светку, вспоминая раз за разом, какая она, и все ошибающимся. Вместе они по заданию лейтенанта должны были найти подружку Лиду и прочесать все места, тайные и явные, где могла находиться Светка. Но прежде всего решили заглянуть к Демину.

Возле деминского киоска металась разлохмаченная, вспотевшая и испуганная подружка Лиды. Увидев подходивших Светкиных родителей, она острым и бешеным голосом закричала:

— Поймали! Поймали!

— Светка где? — закричала, в свою очередь, Тамара Ивановна, схватив девчонку и трясая ее, вытряхивая из нее единственное, что нужно было ей знать.

— Здесь, в милиции, которая на рынке!.. Вон там!..

До замужества Тамара Ивановна нередко смотрела на себя с удивлением и тревогой. Но с еще большими удивлением и тревогой она о себе думала. В деревне они жили в большом пятистенном доме, уходившем глубиной своей во двор, где дочь и занимала дальнюю выгородку, долго остававшуюся без дверей и укрываемую тяжелой бордовой шторой. И только года за два до ее отъезда отец навесил двери и выгородка приняла наконец вид комнаты. Туда втащили трюмо, с облупившейся с изнанки краской, косившее, рябившее, когда искали перед ним красоты и опрятности, но продолжавшее служить. Перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с тою удесятенной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственном обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины. Не больно она себе нравилась: невысокая, плотно сбитая, с поднятыми плечами, ноги крепкие, мускулистые, подлинней бы, подлинней, да и всю ее хоть чуть развернуть бы и пустить повдоль. Ей представлялось, что женщина вся от начала до конца должна быть выстроена снизу вверх, к небу и солнышку, которое высоко, поднявшихся выше обычного порядка, приласкивает больше, и что даже клетки женского

тела должны напоминать вытянутые зерна ржи. Тогда они чувствительней, нежней, радостней и притягательней.

Не сразу она смирилась с тем, что высокой ей не быть. Но и «самоваристой» быть не хотелось, и кой-какие меры она для этого приняла, кой-какие руководства для себя составила. И не это теперь ее волновало, когда в чем мать родила приближалась она к зеркалу. Это происходило только на самый первый взгляд, входной. Но вот она входила, узнавая себя и растирая тело, готовя, оглаживая его продольными движениями, и прикрывала глаза.

Так хорошо было в этом томительном и чутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускаясь и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало его откуда-то со стороны, и, разбуженные, растворенные, наперебой пульсировали токи. Она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение — и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня: должно быть, она ее когда-то слышала:

Тихая, тихая
Реченька текла.
Дождика, дождика
Много набрала.
Ой люли, ой люли,
Речка, не бурли.
Воду свою светлую
Не му-ти.

Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, или вдруг окрыляющееся, распирающее ту же самую грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут. Песни она слышала из себя не однажды, и все того же тонкого тоскующего голоса. Она терялась от мысли, что она совершенно себя не знает. Все видимое имеет какую-то функцию, все пойдет в дело, для жизни и продолжения жизни, но нельзя же всю женщину, сколько ее есть, определить в постель и на кухню. Она вся туда не поместится, и не все будет принадлежать мужу. А что же есть то, что останется свободно, что-то сверхчувственное, не плотское, держащее себя в чистоте, устраивающее хозяйский обход, ласкающее женщину, когда не хватает ласки, и тихо-тихо перебирающее ее струны? Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига. Одна из многих и многих миллионов женщин, похожих на нее, она, благодаря этой особой сверхчуткости, этой способности самопроникновения, могла считать себя единственной: такая и не такая, кое-что есть и еще.

Отец, провозжая ее в город, прикинулся пьяным больше, чем был, чтобы предупредить: до мужа, дочь, блюди себя как зеницу ока. Сказал другими словами, но что же было переводить: она поняла их именно так и даже обиделась на отца за то, что он заставил себя их говорить. Но наступило время, когда и ей пришлось повторить их для Светки; как же, Господи, быстро свершаются сроки, в которые суждено детям, в свою очередь, быть родителями взрослых детей, выходящих на самостоятельную дорогу, полную ловушек. Светка выслушала ее, пряча от стыда и неловкости глаза, но это-то так и должно было быть: в таких понятиях они все остались недотрогами, даже Анатолий. Грубые слова и бесстыдные

разговоры не только не были заведены в семье, но сорвись они у кого из посторонних, загремела бы гроза. Демин и тот побаивался Тамару Ивановну и, когда требовалось произнести незаменное слово, к восторгу тогда еще маленьких ребятишек, принимался нечленораздельно вылаивать его, это слово, после чего, то есть после надругательства над его привычным языком, Демина бил кашель. С приходом свободной жизни, когда из телевизора, как из волшебного горшка, полезла каша, состряпанная из гадостей, а слово, чтобы остановить ее, перевалившую через порог и забившую улицу, — слово это потеряли, Тамара Ивановна, не долго катаясь умом, грохнула телевизор о пол и вымыла руки.

— Не перестарайся, мать, — сказал более спокойный Анатолий. Они, как почти и во всех семьях, где поднимаются ребятишки, невольно называли друг друга «мать» и «отец».

Она отошла и заплакала, стоя перед окном и по-девчоночьи размазывая по лицу слезы. И, как всегда после подобных взрывов, на весь день окаменела, говорила медленно и тяжело. Тамара Ивановна тогда только что пришла работать после детсадика на почту, и вид привозимых почтарям из типографии и с вокзала красочных газет с неслыханными историями и невиданными картинками, ее потряс. Журналы шли не лучше; на обложках книг, продаваемых здесь же, на почте, торчали красотки с задранными ногами и презрительными ко всему свету ухмылками. Она пришла на почту по старой специальности — телеграфистки; изменились и тексты телеграмм: пошлости, скрытые и явные угрозы, ругань, какая-то абракадабра, словно проверяющая, до каких пределов дозволяют дурость и издевательства. Но ничто больше не запрещалось, все шло открыто, свободно, беспощадно — будто торопились выявить всех безобразников, сколько их есть, безобразия их собрать воедино и уничтожить, а самих их отправить по этапу... Но куда? Отправлять было некуда, не осталось ни одного угла, не охваченного этой проказой.

В первые годы этой сошедшей с каких-то крутых гор грязной лавины Тамара Ивановна от бессилия, от невозможности загородиться, убежать от этого бурлящего, кипящего нечистотами потока, на гребне своем вздымающего издевательское ликование, впадала в слезы: сдавливало грудь, боль неподвижным валуном залегала внутри и на часы перехватывала дыхание. А поплачет, польет слезами испуганное сердце, погреет ими, горячими, камень-валун, он вроде и подвинется, освободит дыхание. Но надолго слезами спасешься? Она как-то поймала себя на том, что размышляет — заплакать, не заплакать? Значит, могла не заплакать, не поддаться бабьей слабости. Почему же в таком случае научилась поддаваться, обманывать себя, верить в невольное облегчение, в истечение той горячей тяжести, что забивает нутро? Слезами, что ли, можно изгнать заместившего все и вся, превратившегося в родителя, учителя и государственного служащего, бесстыдство? Нет, все, хватит мокроту разводить!

И все чаще в поисках крепости, где можно было бы найти спасение, вспоминала Тамара Ивановна свою деревню на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой и сосной, в белой кипени майскую черемуху по обочью, сладкий дух ее в деревне, черемуховые метели после цветения, покрывающие улицу белизной, высокое, вынашивающее землю под собой, небо, а под ним на закатной стороне разлив ангарской воды, тяжелый и покорный, с глухими и все-таки родными берегами. И все это сходилось в одно, переливалось, играло, шумело, набегало друг на друга и расходилось, виделось отовсюду, откуда ни зайди, приближало и подставляло под разгляд все, что ни попроси... И все это так ярко, живо и больно влипло в Тамару Ивановну, подобно коже, не знающей забывчивости, что она боялась доискиваться, у всех ли такое бывает и не дана ли ей эта неизносная память в пытку. Во сне к ней несколько раз приходила покойница-мать и, оглядываясь, торопясь, чего-то боясь, рассказывала, в свою очередь, о своей покойнице-матери, бабушке Тамары Ивановны, которая чего-то добивалась от матери Тамары Ивановны. Никак нельзя было понять, чего она добивалась, но жутко становилось оттого, что там тоже продолжают какие-то отношения. Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, заречью и широким боковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозовское подворье за Ангарой и вытопанная

глубокая сходня к воде, то однобокая, с обломанным вторым отростом, береза напротив деревенского дома, которую ветер треплет так, что изогнутой вершиной она напоминает на древке полотнище. Но это еще понятно, это из памяти. Но чудно и непонятно было то, что являлось иногда или напрочь забытое, или не бывавшее при ней вовсе, происходившее, должно быть, уже после ее отъезда. Вот идет она по луговине энергичным шагом, деревня и Ангара справа, слева открывшиеся за оголенным леском выкошенные поля, воздух прозрачный, по-осеннему стекленеющий, иглистый, подходит к одной из старых берез с потрескавшейся кориной и видит, что на нижний сук перекинута прялка. Ну и что? — прялка да прялка, за ненадобностью вынесли и пристроили на показ — может, кто приберет, чтоб не пропадало добро. Но не было прялки в прежних видениях, а уж Тамара Ивановна и в них, в видениях, с такой памятью исходила все тропки, что не замеченным ничто остаться не могло. Стали появляться лица ребятишек, родившихся на свет уже после нее. «Ты чей?» — «Зыряновский». Карапуз смотрит на нее с любопытством, он тоже удивлен встречей с незнакомой тетей. — «Чей зыряновский?» — «Люсин». Тамара Ивановна долго перебирает в памяти, есть ли у зыряновских Люся, и не вспомнит. Но, стало быть, есть, если этот гражданин последнего деревенского замеса с такой уверенностью называет свою фамилию и имя матери. Ясно, что не из сказки они взялись.

«Все Ангарой пронесет — и детство, и старость, и радость, и горе», — философски изрекалось у них в деревне. И жизнь проносила, и долю намывала новую, и такие сказки по камешкам насказывала, пока была проточная вода, что только дивуйся. Теперь все на дно уходит, илом затягивает. Тамара Ивановна невольно задумывалась об этом, ей и впрямь казалось, что от того, какой Ангара полнится водой, чистой и говорливой, или тяжелой, стоящей неподвижной запрудой, зависит и наполненность ее поселенцев. Да, все уходит на дно безразборно и безразлично. И что же потом из этого будет? Что за месторождение, для какой надобности оно станет разрабатываться непредставимым в далях будущего человеком?!

Мать была верующей, правда, без икон и молитв, но имя Божье в обиду не давала и поминала его часто. «Богу надо показаться послушницей, — внушала она дочери, — чтобы он заметил и взял тебя под защиту». Тамара была уже большенькой. «Но как же Бог может всех нас знать? — спрашивала она в задумчивости. — Ведь нас много, прямо сплошные тыщи». И тут встречал отец. У него было свое объяснение небесного учета земных дел. «А мы все ходим воду пить на реку, — полушутя-полусерьезно, присаживая голову, покивая себе, говорил он. — Без реки, без Ангары нашей, никто не проживет. А все реки мимо Бога протекают. Он в них смотрит и, как в зеркало, каждого из нас видит. Поняла?» Что же было не понять? Она кивала и замирала, уставив перед собой неподвижный взгляд. Но сколько потом вспоминались эти слова, как они зацепили душу, когда по утрам открывала она кран в городской квартире и вода застоявшейся пружинистой струей, слепой и затравленной, выфыркивала из трубы, как из преисподней. Какое уж тут зеркало, какое попечение, целение?! Богатые люди не напрасно этой водой из-под крана брезгуют, ездят с пластмассовыми ведерными бидонами то на Байкал, то на источник. Они разборчивы, как и в еде, как и в воздухе, которым дышат, знают прекрасно, что телесные болезни набираются от пищи и воды.

Эх, жизнь-самокатка, катится-то сама, да не барыней ты сидишь в ней, понукающей весело солнышко в небе, а по камням, по грязи и иному бездорожью тобою же продирается след, оставляя непоправимые раны.

И опять возникала в Тамаре Ивановне песня, печальная и чистая, затаившаяся в душе, сама собой натекающая под невольным наклоном. Опять тонкий, чуткий, не плеснувший ни в одном звуке, голос выводил:

Легкая, легкая
Лодочка плыла.
Горькие слезы я

В лодочке лила.
Ой люли, ой люли,
Сердце, не слези,
Долю мою счастную
Не сро-ни.

Тамара Ивановна с жалостью к себе вздыхала, неопределенно и ищуще думала, но мысли по привычке скоро подгибались все к тому же: чего там «не срони», когда в глубокую пропасть столкнули... С усилием вздымая грудь, она выправляла их, невеселые свои мысли, и старалась настроиться на обнадеживающий лад. Но и в нем трудно было задержаться надолго. То представлялось ей, что от недавнего прочного мира, в котором прожила она сорок лет, теперь уже ничего не осталось, все вокруг, как после гигантского смещения породы, завалено обломками, часть их рельефно благополучной грядой выжало наверх, другую, большую, часть разбросало в жалком беспорядке, но там и там не только не противоположные силы, а вовсе никакие не силы, а лишь руины, застывшие в непохожих формах. То вдруг картина менялась и руины получали осмысленное построение, выстраивались в незнакомый, но все-таки порядок, по крайней мере, в очередь к порядку, и казалось, что надо только перетерпеть это страшное время, охранить детей и собственные души — устроится же когда-нибудь жизнь, не может не устроиться!.. Так хотелось дотянуть до этого, так хотелось отдыха еще в жизни! И — подхватывалось струистым, мягко облекающим пением:

Тихая, тихая
Реченька текла.
Слезынек, слезынек
Много надила.
Ой люли, ой люли,
Речка, не бурли.
Лодочке дороженьку
По-сте-ли.

Светка стояла по одну сторону стола, который занимал почти всю вытянутую от двери к окну комнату, оставив только проходы по бокам, — стояла в оцепенении, вздрагивая и отшатываясь от совсем уж диких криков, а по другую сторону, напротив нее через стол, извивался, визжал и кричал что-то неразборчивое кавказец в джинсовой куртке, черный, безростый, с бешеным лицом и кипящими большими глазами. Такими и увидела их Тамара Ивановна в милиции, куда они прибежали чуть не бегом с Анатолием и участковым. Перед Светкой, загораживая ее, стоял в торце стола Демин, всклокоченный, с еще более длинными, чем всегда, взмахивающими руками, и тоже что-то кричал. Тамара Ивановна не отодвинула Демина и не бросилась к дочери — она вонзилась в нее глазами и высмотрела ее всю. Потом перевела тяжелый и пронизывающий взгляд на кавказца и его тоже высмотрела до печенок. У Светки был огромный, чуть не в половину лица, синяк под правым глазом, верхняя губа рассечена, она стояла сжавшись, с выдвинутыми вперед плечиками, которыми пыталась прикрыться, сгорбившись и втянув в себя голову. Взглянула на мать и вздрогнула крупной судорогой, прокатившейся по всему телу. Рукав джинсовой куртки на кавказце был наполовину оторван; когда парень кричал и размахивал руками, дыра на рукаве, как уродливая пасть, с жевом открывалась и закрывалась. Во главе стола у окна сидел капитан, молодой еще, с жидкими волосами и шишковатым лицом; он ни о чем не спрашивал и ничего не записывал, брезгливо смотрел на кавказца и Демина. Кавказец по взгляду Тамары

Ивановны догадался, что пришла мать, и, обращаясь к ней, показывая на Светку, так же заносчиво, бешено, но, позаботившись о том, чтобы его поняли, прокричал:

— Она врет, плохо врет! Фу! — пыхнул он злобой в сторону Светки. — Ей не жить, если будет врать!

Демин перегнулся через стол и сжал кавказцу плечо так, что тот заверещал как поросенок.

— Руки! — прикрикнул капитан.

Потом они оказались в прокуратуре, всего-то в ста шагах от рынка. Присесть было некуда, стулья в коридоре почему-то не полагались; отирая стены, переминаясь с ноги на ногу, ждали... Кавказца увели, Светку допрашивали в кабинете неподалеку. Было семь часов, восьмой, жара спала, в воздухе висела прозрачная, спекшаяся плоть. Двери по коридору хлопали все реже, машинный рев с улицы доносился волнами — то набежит, то затихнет по воле светофора. Демин опустил на подогнутые колени и, задирая голову, оборачивая ее вправо, к Тамаре Ивановне, и влево, к Анатолию, терзал сигарету и говорил:

— Вы ушли, мы со Светкиной подружкой еще раз сделали обход по рядам. Нету. Светкина подружка, видно, что в страх впала. Прибежит-убежит, прибежит-убежит. И у меня на весь день только три покупателя. Я и тем не рад. Выйду и кружу кряду не знаю сколь раз. Как предчувствие было. И вот стою смотрю... не знаю уж, куда и смотреть. И вижу: Светка на меня идет, а рядом бабенка, видно, что не сама по себе, что со Светкой. Светка меня увидела, подбежала, прячется за меня. Бабенка слиняла. Лицо такое у Светки, что лучше и не расспрашивать. Дрожит, оглядывается. «Он меня, — говорит, — бил и не велит отходить от него, он нас за водой отправил, а я сюда повела». — «Где он?» — «Там, торгует». — «Пойдем, покажешь!» — «Нет, я не пойду, я боюсь, он кричит на меня». — «Да что было-то, что он на тебя кричит?» — «Все, — говорит, — было».

Тамара Ивановна дернулась от сильного нутряного толчка, но продолжала все так же тупо смотреть налево по коридору, где одновременно вышли из кабинетов напротив один другого две женщины с бумагами и разговаривали, помогая руками, будто обмахиваясь от жары. Демин замолчал, курить ему хотелось невыносимо. Анатолий ухнул в себя и сидел не шевелясь.

— Дальше, — не оборачиваясь, подтолкнула Тамара Ивановна.

— Покурить-то никак нельзя? — взмолился Демин к проходившей мимо женщине, одной из тех, с бумагами.

— Нельзя! — бросила она.

— Дальше интересней было, — почему-то решил Демин повеселить свой рассказ. — У меня ладонь чесалась. У добрых людей к деньгам чешется, у меня обязательно к драке. Я уж не помню, когда в последний раз дрался, и она помалкивала, не зудилась... — Демин как-то сумел послушать себя со стороны и застыдился, оставил игривый тон. — Ну вот... Я кричу Светке: «Идем — покажешь». Она боится. «Он меня убьет» — да и только! А на нас уж оглядываются, я ее за руку держу. Я шипеть на нее уж потом стал. «Иди, — говорю, — поперёд меня, чтоб я тебя из виду не выпускал, и где он, как-нибудь мне кивнешь». Пошли вдоль рядов. А их там, этих чурок, через одного. Замечаю — показывает мне. Она-то показала на кого надо, а я совсем на другого кинулся, перевернул ему всю торговлю. Пришлось ей подскакивать ко мне и уж не таясь показывать. Тут я сграбастал его от души. Зол злодей, а ты позлей злодея будь. Через минуту милиция как из-под земли. Мне того и надо. Он Светку заметил и быстренько смекнул, что к чему. Хотел мальчишкой безвинным прикинуться, а из меня разбойника сделать. Я кричу: «В милицию нас, в милицию, там разберутся». Милиционер засвистел, еще один подскочил. Повели.

Долго молчали. Тамара Ивановна и Анатолий с разных сторон с мучительным вниманием наблюдали, как Демин выдавливал из сигареты на пол табак.

— Ну и что, Демин, нам теперь делать? — спросила потом Тамара Ивановна с пугающим спокойствием.

— Теперь не вам делать, теперь с вами будут делать. Теперь закрутилось — не

остановишь. Вытерпеть надо. Или ты хотела остановить? — спросил Демин.

— Не-е-ет! — протянула с такой решимостью, что зазвенело в воздухе. — Я тебя не о том спрашиваю. Я спрашиваю, как жить-то нам теперь?

Демин не ответил. Смотрел в пол и возил вывернутыми губами.

— И почему это на нас? Почему это на нас, Демин?

— Надо не так говорить. Если уж на то пошло, надо спрашивать: почему это бывает? А раз бывает, с кем-нибудь да бывает...

— Ну да, с кем-нибудь.. это понятно. Но это с нами... это непонятно. Слух со стороны дойдет, — продолжила она после паузы, — так слуха одного боишься, прячешься от него. И думать боишься, что же теперь с ними — с ней где-то там, далеко, с родителями. От чужого горя и то жутко. А тут не слух, а тут не с чужими. Как это-то вынести? От этого сбегать надо на край света.

Анатолий поднял голову, во все время этого разговора опущенную, и сказал:

— Куда бежать-то?

— Где ни одного знакомого нету.

— Для этого надо и нам с тобой друг друга не знать. И себя забыть.

Отпустили домой Демину, всю последнюю ночь из-за них же он не спал. Ждали еще долго, до темноты на улице. Светку выводили из кабинета, провели в какой-то другой кабинет и снова вернули в прежний. Без Демина и вовсе не говорилось. Тамара Ивановна раз за разом уходила в такое оцепенение, в такую пустыню с непроницаемым воздухом и мертвенным светом, что, опоминаясь, подолгу не приходила в себя и не узнавала, где она, что за мрачный коридор перед нею, из какой он жизни. Анатолий дважды заглядывал в дверь, за которой держали Светку, и снова пристраивался рядом. Не всякая беда сближает мужа и жену, от этой они вдруг почужели, говорить не хотелось. И двигаться никуда не хотелось Тамаре Ивановне, так бы стояла и стояла неподвижно, стояла бы и день, и два, лишь бы не приближаться к тому, что будет дальше.

Но двигаться пришлось — Светку наконец выпустили. Она вышла с бумажкой в руке — с направлением на медицинское освидетельствование. Его нужно было пройти сейчас же, не дожидаясь дня. Под самую ночь поехали в трамвае к тем особого рода врачам, которые дежурят круглые сутки в ожидании «потерпевших». В трамвае было много молодежи, возвращающейся с удовольствий, они стояли группами или парами, но разговаривали нешумно, без выкриков, утомленные бурными и напряженными часами. И так же, сдвинувшись друг к другу в кружок, тесно, лицом к лицу, стояли и они — мать, отец и дочь. На лице Светки под глазами крапинами вдавились внутрь высохшие слезы. Тамара Ивановна не знала, что сказать ей, чтобы не сделать больно. Только и спросила:

— Ты спала сегодня?

Светка испуганно, быстрыми движениями покачала головой: нет.

— А ела?

Показала, что ела.

Что-то говорил дочери отец, силясь улыбаться, приближая голову. Тамаре Ивановне хотелось лишь одного — ехать бы и ехать, но не подъезжать — пусть бы бесконечно визжал на поворотах и дергался трамвай, люди входили и выходили на остановках, как это происходит и вообще в жизни, а ей бы только смотреть на них и не двигаться.

— Что вы так на меня смотрите? — спросил вдруг очень высокий, с тяжелым подбородком парень, стоявший к ней лицом.

— Я не смотрю, — коротко ответила она, удивившись, откуда он взялся, она его и не видела.

Домой вернулись в пятом часу. Заметив, что Светка готовится упасть в постель, приказала:

— Вымойся! — и сама набрала в ванну воды.

Иван спал, когда пришли. Что же это: уходили — спал, днем заходила — не было, и теперь спит? И так неуютно и горько показалось ей в родных стенах, будто не она здесь

хозяйка, будто сдали, как это ныне водится, квартиру кому-то чужому и неприятному, который все в ней переиначил и изгадил, а они тайком в глухой час пришли убедиться в этом. Она не смогла бы заснуть, сердце стучало глухо и тяжело, удары его отдавались во всем теле. Вспомнив, что можно добыть чай, она вскипятила чайник и долго и жадно пила, пытаясь горечью крепкой заварки перебить в себе чужость, пронзившую все тело, — будто это ее изгадили.

Светка росла слезливой, мягкой, как воск, любила приласкаться, засыпать у матери на руках, сказки позволяла читать только нестрашные, и не про детей, подвергавшихся колдовской силе, не про братца Иванушку и сестрицу Аленушку, о судьбе которых начинала страдать заранее, прижимаясь к матери, а про козляток да поросят. Была чистюлей и аккуратисткой, в ее игрушечном уголке каждая тряпочка знала свое место и каждая кукла вела разумный образ жизни, не валяясь где попало с растопыренными руками и ногами. Над вымазанным платьем Светка ревела ручьем, брату, пока он не вышел из ее повиновения, бралась отстирывать с мылом ссадины на руках и лице. В детском саду Тамаре Ивановне пришлось запретить своим детям по всякому пустяку искать у нее защиты и приклеиваться к материнской юбке — Иван скоро и легко принял это правило, а Светка, не спуская с матери зареванных глаз, отходила в уголок, чтобы казаться окончательно несчастной, и истекала слезами, делая порывистые движения в сторону матери и не смея нарушить запрет. Она мало читала в детстве и развивалась какими-то собственными, вызревавшими в ней, впечатлениями, подолгу затаенно и чутко прислушивалась к ним, медленно, в такт чему-то, поводя красивой головкой с закинутыми за спину пшеничными увязками кос. Знала много песен, и народных, и под народные, ее обучала им бабушка Евстолия Борисовна, мать Анатолия, жившая в трех кварталах от них в одиночестве своей квартирой. Был у них коронный номер, исполнявшийся при гостях и всегда вызывавший восторженный смех. «Вот кто-то с горочки спустился...» — басисто, тягуче, мощно начинала бабушка и умолкала, закатывая глаза и откидывая крупную, гладко расчесанную голову, а внучка чистым, звонким, хрустальным голоском подхватывала, вся превращаясь в восторженное сияние и вытягивая шейку, точно высматривая: «Наверно, милый мой идет...». — «На нем защитна гимнастерка...» — взрывалась после ангельского Светкиного вступления Евстолия Борисовна, а Светка, испуганно приахнув, артистически затомившись нетерпением, приложив ручонку к груди, округляя сердечком губы, уж совсем на пределе нежного и самозабвенного звона признавалась: «Она меня с ума сведет». Слушать их, смотреть на них было уморительно: одной рано выглядывать «миленького», другой поздно, и голоса, слишком разные, не соединимые ни в одном звуке, выдающие у одной колодезные заросли прожитого, а у другой — только что выбившийся из-под земли ключик хрустально-счастливого плеска, — удивленно и простодушно заявляли о невинности той и другой.

Иван в малые годы был более самостоятелен и умел настоять на своем. Захочет чего — вынь да положь ему. Тамаре Ивановне постоянно было некогда, она, торопясь отойти, уступала, и парнишка все набирал и набирал твердости. С трех лет он басил, да так по-мужски, будто голос из мехов выходил. В детсаду поражались: «Ты, Тамара Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, подкармливала, чтоб горло помягчело, он же пугает ребятшек. Как труба ерихонская, ей-Богу, что с ним потом-то будет, какие страсти?!» Но, заявив о себе, погудев для острастки, гуд прекратился и голос опал, сделался почти как у всех мальчишек и все-таки покрепче, потуже, в тон характеру.

Во все годы Иван учился хорошо. В круглых отличниках не ходил, но ему это и не надо было; он рано заметил в отличниках почти рабское преклонение перед высшим баллом, постоянную напряженность и выструенность ради оценки. Велят стараться — они и стараются до потери сознания. В круглых пятерках, считал он, несвобода, чрезмерная

исполнительность, стесненное дыхание. Вот почему когда снялись в школе все ограждения и хлынула в нее дикая свобода, отличников почти не стало. В школу ворвался Гаврош с сигаретой в зубах, в грязной заграничной куртке, с выписанными по груди и спине загадочными словами, отодвинул от стола учительницу и крикнул: «Айда, ребята, там стреляют, там делай, что хошь!» И ребята посыпались из-за парт, собираясь в отряды, шныряющие по вокзалам, рынкам и помойкам, обживающие чердаки и канализационные ходы. И как знать, не от худшего ли еще они сбежали? В школу, как новую мебель, натащили новые науки, появились учебники с откровенными картинками и призывами вроде: «бейте лампочки в подъездах, люди вам спасибо скажут», набрались неведомо откуда экзотические преподаватели, едва говорящие по-русски, а родную литературу, историю, русский язык принялись сталкивать на обочину, превращая их в третьестепенные предметы и наполняя новой начинкой...

Светку после девятого класса Тамара Ивановна сняла из школы, послушалась ее — и не спасла. Иван оставался в школе, теперь уже тоже в десятом, — и неизвестно, спасется ли. Одна надежда на его твердый и самостоятельный характер, на крепость собственного закала. Только такие теперь и выстаивают.

К шестнадцати годам Иван поднялся в высокого и красивого парня. Все в нем сидело плотно, спина не прогибалась, как обыкновенно у высоких подростков, руки и ноги не вихлялись, будто плохо ввинченные, шея не вытягивалась по-петушиному. Недорослем его не назовешь. Больше всего Тамара Ивановна гордилась ростом сына: она и Анатолий обошлись средним ростом, Светка вышла в них, а Иван — надо же! — как на опаре поднялся в полную и завидную статью. Лицо у него было чуть вытянутое, голову носил высоко, задирая подбородок, глаза смотрели внимательно, без спешки. Ботинки покупали ему сорок пятого размера. Об одежде заботился мало и ничего модного не выпрашивал, любая рваная майка сидела на нем как родная, зимой бегал в коротком и тонком китайском пуховике, в котором свистел ветер. Мать со скандалом заставляла его идти с собой на барахолку, в царство яркого и дешевого китайского изобилия, чтобы не стыдиться его дыр, а он и не замечал обновки. Так же не замечал он голода: усадят за стол — съест с короб, не глядя, что ест; не найдут, не усадят — и не вспомнит, что полагается обедать. И при этом худым не был, не выбегивался, кости не выставлял. Все было при нем. Он не отказывался помогать ни по дому, ни по даче, но ему надо было напоминать: сделай это, это и это — сам он сделать не догадывался, мог пройти мимо слетевшей на пол книги, не заметить, что на столе нет хлеба. Тамару Ивановну это возмущало, она пробовала стыдить сына, а он хлопал невинными изумленными глазенками, не понимая, чего от него добиваются.

— Ты говори, — даже и не оправдывался он, а искренне не мог взять в толк, почему бы его, как всякое требующееся движение, не подтолкнуть. — Ты говори, я сделаю.

— А без «говори» ты не можешь сделать? Как же ты без меня-то, без нас собираешься жить?

— Я сам себе буду говорить.

— Так ты и теперь сам себе маленько говори.

Он умел найтись, ой, умел:

— Но ты же у нас диспетчер...

— Что-о-о?!

Мать под горячую руку могла и затрещину отвесить; сына как ветром сдувало. И, зная, что она высматривает его в окно и наставляет, как орудие назидания, кулак, он вставал перед окном в боксерскую стойку, делал уморительную рожицу, показывал язык и вприпрыжку удалялся.

— Ну, мать! — как-то незадолго до этой истории, уже по сухой зазеленевшей весне, воротясь домой, с воодушевлением взялся рассказывать Анатолий. — Иван-то у нас, а! Счас идем по улице — так заглядываются на него невесты-то! Теперь это у них без стеснения — сами заглядываются, глазки вострят! Вот увидишь: все девки будут его.

— Зачем ему все девки? — Это было в субботу, собирались на дачу, и Тамара Ивановна

вся была в хлопотах. И отозвалась — как мяч, летящий на нее, отпаснула.

— Да красивый у нас парень-то растет! — не унимался Анатолий. — Красивые у нас дети. Вообще народ, если на молодежь смотреть, красивой становится, какой-то отбор происходит.

До народа Тамара Ивановна не стала подниматься, не до того; об Иване сказала, распрямляясь из согнутого положения: она собирала в мешок рассыпанную под столом картошку, которая прорасивалась для посадки:

— Зачем ему красота?! — А раз уж выпрямилась, бросила из-за пустяка дело, то и пошла в наступление: — Зачем парню красота? Парня портить? Ему не красота нужна — умнота. На умноту-то, поди-ка, не заглядываются! И рассмотреть не умеют.

— Да и умнота есть. Не дурак. Что это ты? Умеешь глядеть — гляди.

— А ничего пока увидеть не могу. Глаза стали плохие.

— Ну, это ты зря, Тамара Ивановна.

Это словно клавиши музыкального инструмента — то, как мужа и жены в разные минуты обращаются друг к другу. Анатолий не часто, но называл все-таки иногда свою жену и Тамарой Ивановной — когда надо было с легкой дразнящей иронией приподнять имя к «Ея Величеству»; называл и просто Тамарой — в ровные и безоблачные будни, напоминающие о молодости; и «мать» говорил — при детях, как это с возрастом бывает у многих, и «голубушка» — чтобы внешне безобидным, но чувствительным скребком снять лишнюю накипь, и «подругой дней моих счастливых» — когда счастья хотелось больше и лучшего качества... Тамара Ивановна называла его то Толей, то Толяном, то «отцом», то — очень редко и вне себя — «супругом», точно предьявляла свидетельство о браке, которое может быть выброшено. Вот и теперь Анатолий выбрал «Тамару Ивановну» — стало быть, имел к ее мнению нешуточные претензии.

— Это ты зря, Тамара Ивановна. Парень у нас хороший вырос. Я о нем меньше беспокоюсь, чем о Светке.

Но и Тамара Ивановна беспокоилась о нем меньше. И потому, что парень, а значит опасностей сразу вдвое меньше, и потому, что мог уже, не обделенный силой, постоять за себя. Но больше всего — какая-то прочная сердцевина, окрепшая в кость, чувствовалась в нем, и на нее, как на кокон, накручивается все остальное жизненное крепление. Понятно, что это крепление ложилось пока слабо, кое-где топорщилось, кое-где высывались петли, но оно было на месте, на котором и надлежало ему быть. Это главное. Иван, как и все подростки, ходил на дискотеку, но она не захватила его с руками и ногами, не проникла вместе с ним в дом и не загремела на все пять этажей, как исчадие ада. Все, на что фанатически бросаются другие, его настораживало. В школе все учили английский язык, чтобы проложить им дорогу к красивым и сытым занятиям, он среди всего четырнадцати таких же «поперечных», ходил во французскую группу. Все набрасывалась на порнофильмы, с горящими глазами и почесывающимися выпуклостями собираясь по передовым хазам — чтобы непременно вместе и непременно в учебных целях — он сходил за компанию раза два, почувствовал какую-то внутреннюю морщ и слизь, стыд, удивляясь удалым и неприятным комментариям товарищей, и больше не пошел. Все, старые и малые, валили огромными океанскими волнами на «Титаника» — он удержался, не желая быть каплей того же состава, которые вздымаются рекламным ветром в слепые и кровожадные валы, снова и снова атакующие обреченный лайнер и испытывающие удовольствие от предсмертных криков. Одно время у Ивана случилось странное для парня и хранимое в секрете увлечение — он собирал фотографии принцесс и королей здравствующих монарших семей — шведской, датской, испанской, португальской, английской, японской — он вглядывался в их лица, чтобы понять, что за особый такой отпечаток накладывают аристократизм, династическая порода, считающаяся спущенной с небес, и восторженное почитание. Но после того как лучезарной звездой просияла принцесса Диана, изменявшая мужу на глазах у всего впавшего в неистовое любопытство мира, Иван выбросил свою коллекцию и вспоминал о ней со стыдом всякий раз, как снова и снова возносили скандальную принцессу как богиню

аристократической свободы.

Этим он был в мать. Иван даже стеснялся этого сходства и в решительности своих поступков старался сыскать другие причины. Мать могла сгоряча наломать дров, нередко так и происходило. Сгоряча, к примеру, разбомбила и выставила телевизор, как забывающегося гостя, поведшего себя неприлично. Выставила и только навредила: Светка повадилась бегать под телевизор к подружкам; Евстолия Борисовна, признаваясь, что она «не вылезает из телевизора», приходила совсем редко. «Так не делается, — считал Иван. — Прежде остынь, потом решайся на размашистые движения». Его поступки, считал он, вызываются волевым решением. Дискотека — это детская болезнь, так же как пакостливые заглядывания в чужую постель, от нее, от этой болезни, все равно придется освобождаться, и чем раньше, тем лучше. «Титаник» — результат массового психоза, «что все, то и я», а он собирался быть человеком самостоятельным. Французский... Французский понадобится, конечно, меньше, чем английский, и к английскому когда-нибудь придется вернуться, но сегодня английский — это для сбитого с толку поколения загон, где ему помогут расстаться с родной шерсткой. О принцессе Диане и говорить нечего, она не одну себя отдала на съедение хищникам, а вместе с собою повела миллионы, многие миллионы дурочек, жаждущих мятежного примера.

В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его, впрочем, и увлечением назвать нельзя, оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то, что ищут, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, — бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, — и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части: «вор — бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай. Недалеко оказалось и другое, летающее рядом с воробьем, столь же очевидное и самоговорящее: «ворона», «вор — она». Вспомнилось, что «спасибо» — это «спаси Бог». Вот уж верно: спаси и вразуми нас, произносим как пустышки, как фишки, как номера какие, которые имеют условное обозначение, требующее запоминания.

— Мама, ты знаешь, что такое сволочь? — погуляв перед матерью петухом, придав себе важности, спросил Иван, улучив момент, когда Тамара Ивановна вечером перед сном, уставшая и размякшая, опустилась на диван.

— Сволочь она и есть сволочь, — мрачно ответила она.

— А что такое подонки?

— Чего это тебя потянуло туда: сволочи, подонки?

— Слушай, мама, и запоминай. Сволочь — это такая дрянь, которую надо стащить, сволочь с дороги, где люди ходят. Слово «сво`лочь» — от «своло`чь», убрать с глаз. Переставляешь ударение и все ясно. А «подонки» — осадок по дну посуды, несъедобные, вредные остатки, их только выплеснуть.

— Гли-ка! — слабо удивилась Тамара Ивановна. — Сам разглядел или кто подсказал?

— Я теперь к каждому слову прислушиваюсь. Вот «бездна». Что такое «без дна»?

— Ты у меня, что ли, спрашиваешь?

— У тебя. Посмотрю на твое развитие...

— Я те покажу развитие... Доразвивались... дальше некуда. Ахнули в пропасть — вот тебе и бездна.

— Правильно: «про`пасть» — от «пропа`сть», и она «без дна» — вот и «бездна».

— Учись, — вздохнула Тамара Ивановна. — Так учись, чтоб не пропасть. Счас все шиворот-навыворот — ой, разбираться днем с огнем надо. Слова взялся разгадывать... разгадай-ка сумей, где хорошее и где, ой, нехорошее. Ой, Иван, берегись. Счас матери с отцом углядеть вас — никаких глаз не хватит. Сам берегись. Теперь детишкам хуже, чем в

детдоме. В детдоме досмотр был, там, может ласки не хватало, а досмотр был. А счас и при живых родителях сиротство: все под смех да под издевки пошло.

И сама же, спустя недели две, вспомнила:

— Ну, что еще разыскал? В словах-то? Какие там еще разъяснения?

— Разъяснения мне больше неинтересны, — ответил Иван, напуская на себя опытность. — Я в этом предмете в следующий класс перешел. Я теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл. Вроде как взрослеют. Вот, к примеру... вот, к примеру, «злыдни»... Ты знаешь, что такое «злыдни»?

— У нас в деревне говорили: последние злыдни выгребли. Значит: остатки, деньги там или продуктишки, на черный день приготовлены.

— Да, теперь так. Но если смотреть на слово — это «злые дни». Сначала оно, видать, жило с этим значением, а потом потихоньку-потихоньку перешло в запас для тяжелых, для злых дней. Или слово «равнодушный». Оно относилось к человеку равной с другим, равновеликой, души, а сейчас это бездушный человек. Вон куда уехало.

Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила:

— Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь как завлекло! — Она вздохнула. — Только не кормежное, однако, это дело, это твое гадание на словах...

— Языкознание называется. Конечно, не кормежное. — Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рассмеялся. — Не кормежное — еще бы!

— Чего ржешь-то как жеребец! Кормить-то кто будет?

— Да мне ведь еще ведь еще год в школе...

— Школу-то не задумал бросать?

— Нет, не задумал. Я мог бы, конечно, самостоятельно... — «Хвастунишка, — подумала Тамара Ивановна. — Сразу то и другое заедино: и хвастунишка-мальчишка, и взрослый уж, серьезный человек. — Мог бы самостоятельно, — выхвалялся сын, — но мне аттестат зрелости не повредит.

— Вот чего бы Светке не учиться?.. Школа — плохо и без школы плохо.

— С нами плохо, а без нас тоже плохо, — поддразнил Иван.

— И правильно! — решительно подтвердила Тамара Ивановна. — Ты надо мной смешки не строй, я тоже разбираюсь. Правильное — оно и будет правильным, как ты его не обсмеивай. Этим твоим горлопанам, этим твоим дуроплясам надо бы знать: правильное правильным и останется. Они в дым превратятся, в фук, в вонь, а оно стоять будет.

— Да с чего они мои-то? Ты с чего их мне в родню-то записала?

— Потому что они для тебя стараются!

— Они и для тебя стараются!

— Меня им не взять!

— А если меня взять — плохо ты меня воспитываешь!

— Ничего, я вас воспитаю! Вы у меня шелковые станете!

— Ма-а-ма! — миролюбиво протянул Иван, лицо его поехало на сторону от смеха. — Как называются первые огурцы?

— Чего-о-о?

— Как называются первые огурцы, помидоры, ну и так далее?

— Чего ты меня дуришь?

— Ну, как они называются — знаешь?

— Так и называются. Первые они и есть первые. Первый ребенок — первенец. Первый огурец — тоже, поди, первенец.

— Поди... Вот тебе и поди. Огурец-то — это, поди, не ребенок. Первые овощи, мама, — начатки. А как называется беременная женщина? Она называется: непраздная. Вот так. Также мне: не кормежное дело... А вспомнишь, что начатки, и огурцы вкуснее.

— Хоть русские слова — и то ладно. А то сейчас понатаסקали всякую дребедень, будто мы уж не дома, и скалят под нее зубы, и скалят...

— А почему девушку называют красной? — не отставал Иван; очень ему нравилось

учительствовать перед матерью, так и приплясывал он перед нею, наигрывая головой, так и брызгали его глаза веселым нетерпением. — Красна девушка — это что?

— На морковке да на свекле со своей грядки возросла — вот и красная.

— Красная — это красивая. Так в старину говорили. Красная площадь в Москве — не от морковки же она красная... А потому что выстроена красиво.

— Площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки, — уперлась Тамара Ивановна. — Тут уж ты меня не перебеешь. От огородного, от таежного, от чистого воздуха — вот она откуда, краса. Никакой мазни не надо. Лицо белое — от коровки, щеки жаром пышут — от чего же еще, как не от нее, не от морковки; глаза чисто глядят — утром встанет пораньше да умоет свои глаза свежей росой, они и рады-радешеньки. А ежели еще коса на месте... Коса на месте — все на месте, так и запомни.

Иван на торжественной ноте продекламировал:

— У красной девицы, мама, не глаза, а очи: жгучие очи. Не щеки, а ланиты: бархатные ланиты. Губы алые, шея лебединая, груди — это перси: трепетные перси...

— Что еще за персы? Рано тебе трепетать от всяких персов. Ишь, туда же! Имей стыд-то! Заповзглядывал куда не просят! Персы!

— Не персы, мама, а перси-и. Это по-старорусски. Когда хотели возвышенно сказать о женщине, наградить ее неземной красотой...

— Чем земная-то плоха стала?

— Да посмотри: с ланитами да персями, с очами да веждами совсем по-другому смотрится женщина. Боярыней смотрится. Павой. Знаешь, что такое пава? «А сама-то величава, выступает словно пава». Помнишь?

«Павая» почему-то обидела Тамару Ивановну:

— Ладно, хватит выставляться-то перед матерью. Учись да не заучивайся, дальше ума не лезь. Ишь, павая... Придет время — не паву себе ищи, не на персы глаза пяль, а душу почуй. Душа-то, поди, себе имена-фамилии не перебирала... Перебирала или нет?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Ей это и не надо. Она скромницей живет. Терпеливицей. А паву твою я и знать не желаю.

На следующий день после возвращения Светки пришлось идти в прокуратуру с самого утра. В этот раз их, Тамару Ивановну и Светку, вызвали вместе, Тамару Ивановну как законного представителя потерпевшей. Вот кто теперь они, дочь и мать: одна законная потерпевшая, другая — законный представитель потерпевшей. Таков язык в этих стенах, видевших и слышавших такие истории, что никакие слова и никакие происшествия тут никого покоробить не должны, и, если, по несчастью, это происходит, значит человек плохо представлял себе, куда он шел.

Следователь, сидевший за столом, был из того распространенного типа мужчин, в который в схожих условиях и со схожим образом жизни к сорока годам попадают многие: рыхлое и посиневшее крупное лицо, лысина на голове, которую уже и маскировать нечем, нарочито замедленные движения, поскольку в неконтролируемом положении они нервны и суетливы, и мутный взгляд много повидавших глаз. Фамилия его была Цоколь, он назвал себя сразу же, как только усадил перед собой Тамару Ивановну и Светку. Светка села напротив следователя, Тамара Ивановна в углу стола, справа от дочери. Имя не сказал, тут это не полагалось. И их имена записал только на лицевой стороне протокола допроса и впредь легко, нисколько не затрудняясь в обращении, обходился без имен.

Кабинет был сурового и холодного вида: кроме стола Цоколя в левом углу у окна, еще один стол по правой стене ближе к двери, окно, невеселое, выходящее во двор, на покрытую металлическими листами и крашеную суриком крышу хозяйственного пристроя. Одинаково громоздко подпирали боковые стены большой темный шкаф справа и большой железный

сейф слева, тот и другой давно миновавших, но поразительно прочных образцов. Тамару Ивановну эта мрачная обстановка удивила. Она считала, что, если новая власть купается в сказочной роскоши, а закон истово помогает новой власти нарушать правосудие, то и его служба должна оплачиваться щедро. Оказалось, судя по обстановке в прокуратуре, это совсем не так.

Цоколь хлюпал носом: спасаясь от вчерашней жары, он, должно быть, неосторожно подставил себя сквозняку. Окно и теперь было приоткрыто и в него наносило приторным запахом растопленной на пристрое краски. Но сегодня и жара донимала меньше, солнце горело вполнакала.

Цоколь спрашивал и записывал. Записывал шариковой ручкой, машинки в кабинете не водилось. Он предупредил Светку, как и Тамару Ивановну, об ответственности, сказал о правах и обязанностях. Здесь упоминание о них казалось единственно к месту, не то что на площадях среди одуревших от свобод митингующих. Тамара Ивановна поняла только, что она не должна мешать допросу. А чего бы ради ей и мешать? Жалея девчонку, она так и не расспросила ее... да и когда бы, как бы она стала расспрашивать? Под утро пришли чуть живые; сегодня, пока не постучала к ней Тамара Ивановна, Светка из комнаты не выходила, а сон ли ее свалил после двух страшных ночей, или рвала она на себе волосы — как знать! Да и что прикидываться: Тамара Ивановна, откладывая разговор, не только Светку жалела, но и себя. Пытаться, добиваться подробностей — это хищной птицей расклеивать сердце дочери и свое. И вот теперь она вынуждена была слушать.

Светка встретила, оказывается, этого парня, азербайджанца по имени Эльдар, еще в четверг. «Еще в четверг», — повторила про себя Тамара Ивановна, отмеряя это временное удаление двумя разными мерами: так давно это было, на краю какого-то прежнего летоисчисления, а потом — так близко, всего-то три дня прошло, за три дня ничего слишком уж тяжкого не должно было произойти, ведь это не стихийное бедствие. Из этих трех дней дочь потерялась на сутки. Сутки эти, пока они выворачивались из-под земли, пока в терзающем оголении проносили они каждую минуту, выросли в вечность, но теперь, когда они остались позади, они представлялись чем-то вроде тонкой завесы, которую надо было только догадаться приподнять, чтобы увидеть, что за нею происходило.

Девчонки, Светка с двумя подружками, стояли на площади возле торгового комплекса, а наверху, на площадке перед входными дверями, торчал кавказец в джинсовой куртке, засунув руки в карманы зеленых спортивных брюк, и уставился на них. Под его слишком уж пристальным показным вниманием они захихикали, а он, словно только этого и ждал, сбегал к ним вниз и уставился уже на одну Светку... Наигрывая плечами, нащелкивая пальцами, он объявил ей с акцентом, что она ему нравится. Девчонки еще пуще засмеялись; парень в толстой куртке и толстых штанах в совсем жаркий день, с черным узким лицом, с вихляющей фигурой на неподвижных ногах был забавен. Его этот смех разозлил, в глазах появилось бешенство. Без всяких подступов и ухаживаний он решительно велел Светке быть вечером в семь часов там же, где стояли. Говорил он с сильным акцентом и злился еще и оттого, что его плохо понимали. «Приду», — со смехом пообещала Светка, чтобы отвязаться. «Приходы!», — еще более требовательно, с угрозой повторил он и направился в сторону рынка.

«Это все торгашество, все оно, подлое... — спохватно думала Тамара Ивановна, слушая Светку. — Все профессии, все специальности — вон, ничего не надо, кругом одно торгашество! И где она была, какой бес отнял у нее разум, когда согласилась она на курсы продавцов, на которые нацелилась Светка, после того как бросила школу?! Потому и нацелилась, потому и бросила, что все кругом, вся жизнь перешла в шумный и липкий базар. Где она, мать, была, почему не сообразила она, что выйдет девчонка с курсов — на работу ее, малолетку, не возьмут и может повадиться она ходить на эти бесчисленные базары-ярмарки и искать любое купи-продай, любую мелочишку из любых рук в любые руки. Так оно и вышло. Что ни день — как на биржу труда, туда, к торгашам, пять дней впустую, а на шестой какой-нибудь проныра-хозяин поставит на угол совать прохожим

китайские заводные игрушки и зазывно, не набухшим еще голоском, выкрикивать, чтоб подходили.. Господи, девчонка заворотила глаза — ей простительно, а она, мать-то, где была, почему тоже заворотила глаза на эту всесветную барахолку?! Вот оно, наказание-то, вот оно, принимай, мамаша», — неожиданно чужим голосом, издевательским и назидательным, ткнула себя Тамара Ивановна в грязный стол, за которым, как приговор, заполнялся протокол допроса.

— А на следующий день ты тоже случайно встретила его, этого кавказца? — равнодушно спрашивал следователь, быстро водя ручкой по разлинованной бумаге.

— Тоже случайно, — согласилась Светка и умолкла.

— Рассказывай, — подтолкнул Цоколь, мельком взглянув на Тамару Ивановну, сидевшую в неподвижном и как бы прочно замкнувшем себя положении: склонившись над столом и опершись на него обоими локтями, она одной рукой ухватилась за щеку, вобрав ее в кулак, а второй подпирала лоб.

— Он искал меня, — продолжила Светка, — а для меня это было случайно. Я работала у входа на барахолку. О нем забыла. В четыре часа сдала остатки хозяину, он велел в четыре, он куда-то торопился... Я сдала ему и пошла к торговому комплексу...

— Почему опять туда?

— Там Люся Кудашкина работает. Мы договорились встретиться. Я нашла на барахолке Лиду и сказала ей, что пойду к Люсе. Лида тоже пошла со мной. Мы подошли к комплексу, и я увидела: опять там, у дверей, стоит этот парень. Мне показалось, он меня не заметил. Я кинулась за угол и вошла в комплекс с другой стороны, со стороны рынка. Стала подниматься по эскалатору, а он на втором этаже стоит у эскалатора и ждет меня. Схватил за руку и держит. Говорит: «Пойдем гулять». Но не злой был, улыбался. Не отставал от меня. Пришлось с ним вместе подходить к Люсе, она уж ждала. Там и Лида была. Мы при нем разговаривали с Люсей о работе. Чтоб нас на улицу на россыпь поставили. Люся хотела с кем-то договориться. У нее не получилось. Он слышал наш разговор. Когда на улицу вышли — он, Лида и я — он говорит: «У нас много работы, у моего двоюродного брата. Давайте поедем к брату, это рядом, брат вам на полгода даст работу». Понимать его было трудно, он плохо говорил по-русски. Кричал: «Брат скажет, брат скажет!»

— И поехали — так, да? — опять подталкивая умолкнувшую Светку и выдержав, не взглянув на Тамару Ивановну, которая все так же, еще шире раздвинув по столу локти и еще ниже склонив голову, сидела неподвижно.

— Я хотела сбежать!.. — загорячившись короткой вспышкой и переходя опять на покорный тон, говорила Светка. — Я хотела сбежать, но он держал меня за руку, спрашивал: «Почему ты меня боишься? Я тебе дурного не сделаю». Он мне был противен, я боюсь их, этих... Я попросила Лиду не бросать меня. Я повела их к киоску дяди Володи Демина — киоск закрыт. Дядя Володя был где-то недалеко, машина стояла на улице. Мы минут пятнадцать ходили вокруг, я думала, он придет. «Съездим к брату, поговорим с ним и обратно», — повторял он, этот... Говорил, что у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Мы с Лидой пошептались, что если вместе, то не опасно...

— И куда поехали?

— В общежитие для малосемейных, на бульвар Постышева. Там старик был, он ушел ненадолго и привел второго кавказца, старше. Звали его Эдик. Эдик принес водку, одну бутылку, консервы, колбасу. Тот, который с нами пришел, стал требовать, чтоб пили и ели. Но никто не пил, он один выпил полстакана и сделался совсем злым. Стал кричать на меня, хватал на руку. Когда Эдик хотел его успокоить, он кричал на Эдика. Мы с Лидой хотели уйти — он вскочил, закрыл дверь на ключ, сказал: если мы подойдем к двери, он выбросит ключ в окно. Уже было больше семи часов, я заплакала. Он схватил меня за руку и потащил в туалет — будто умыться. Говорил: умойся, умойся, не плачь... Он... я...

— А где был старик?

— Он ушел раньше.

Светка замолчала и уставилась в стол. Лицо ее сделалось мелким, жалким и посинело,

словно от синяка под глазом краска под давлением разошлась по всему лицу, и покрылось точечными капельками пота. Она была в легкой темной спортивной курточке, волосы на затылке перехвачены резинкой, фигура надломленная, глаза забиты воротившимся при воспоминании страхом. Тамара Ивановна взглянула на нее и быстро убрала взгляд, ужаснувшись тому, как быстро психика или что там еще у дочери отозвались на подготавливавшийся момент прыжка в пропасть, перед которым она застыла. Светка подошла в своем рассказе к самому страшному; теперь надо было только оттолкнуться и пролететь уже испытанным падением: так же с высоты удариться об острые камни, раниться, биться о них раз за разом, снова лететь, обдирая тело, по откосу и не иметь ни вдоха, ни сил, чтобы зайти отчаянным воплем.

Из коридора время от времени слышались шаги — точно крадущиеся по случаю выходного, в открытое окно налетал ровный и спаянный гул города, идущий, казалось, из какого-то одного источника. Посвистывал большим носом следователь, нарочито размашистым движением заглядывал в отложенную страницу и, деланно сопереживая, вздыхал.

— Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?

Светка мелко, дрожью, затрясла головой.

— Не сказала?

— Я еще раньше сказала, что я девочка. А там я не могла говорить. У нас уж там не разговор был.

— А что у вас было? — Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: — Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа. У нас допрос. И мне нужны подробности. Рассказывай.

Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой.

— Пусть мама выйдет, — медленно, растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя.

— Мама не может выйти. Она здесь не для своего удовольствия сидит.

Дальше пошли короткие вопросы и короткие ответы. Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы. И от этого голоса, от выдираемых изглубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немереные бесстыдство и гадость. Вся натянувшись, обмерев, она уставилась на Светку как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшееся и принявшее образ ее дочери, и все сглатывала, сглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его внутрь. Следователь раз за разом спрашивал: «Но почему?..» — Светка неживым голосом отвечала: «Я боялась, он грозился убить». Вопросы продолжались, продолжались и ответы. После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению, — она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, не для кого другого, крикнула в нестерпимой муке:

— Да как это можно?! — и выскочила в коридор.

Следователь вернул ее, дал отдохнуть ей и Светке. Он закурил, вежливо осведомился, не мешает ли им дым, встал у окна, спиной к ним, оставив назад правую руку, разминая затекшие от писания пальцы. Тамара Ивановна и на руку его с растопыренными пухлыми пальцами смотрела с ужасом, как на надвигающегося огромного паука или скорпиона. Но нет, как известно, пределов человеческому терпению — смирила себя и она. И когда допрос продолжился, она успела в себе что-то закупорить, что-то замкнуть на прочные запоры и

сидела неподвижно, но вполне в памяти. Хуже, страшнее того, что услышала она, быть уже не могло. Но и все остальное было не многим лучше.

Около полуночи кавказцы оставили тесный притон в общежитии. Своих девушек они вели под руку. По теплой погоде и только-только смеркшемуся дню на улицах было почтилюдно, по большей части молодым, не чурающимся приключений, народом. Трамвай долго не подходил, и на остановке то в одной группе, то в другой вспыхивал крик. Подруга Лида не обманула, что здесь она и оставила Светку с ее кавказцем, уехала домой, но она знала, куда везет Светку кавказец. Тот не скрывал, что его постой находится недалеко от рынка, за травматологическим институтом, в деревянном доме. Туда он и подругу Лиду с Эдиком тянул, размахивая руками и быстро лопоча что-то на своем языке, когда обращался к Эдику. Но тот был испуган происшедшим в общежитии и торопился сбежать подальше от своего родственника, который, конечно, братом ему не был, даже и двоюродным, но все они, выходцы из горного края, на стороне считали себя братьями.

— Ты могла от него сбежать? — спрашивал Цоколь.

Светка попыталась задним умом понять, могла ли, но и теперь по ее телу прошел испуг.

— Я боялась.

— Но ты могла, если бы не боялась?

— Я не знаю. Я боялась. Я на остановке хотела, но он предупредил, что догонит и зарежет. Там много кричали... если бы я закричала, никто не помог бы...

— А где он грозился зарезать — на трамвайной остановке?

— И там тоже. И потом... в деревянном доме.

Там он заставил ее выпить стакан водки. Расцепил зубы, зажав поднятую вверх лицом голову, как кочан капусты, и влил водку до последней капли. Молодая бурятка, хозяйка квартиры, и друг ее, еще один кавказец, высокий, с оспяным, чешуйчатым лицом и тяжелыми, в глубоких впадинах, глазами, смотрели, как дергается, захлебывается и обвисает в судороге юная пленница, с любопытством. Чего не происходит, когда гулянка, как гармошка, разыгралась так, что не унять, каких только красавиц не нахлещет сюда ее переборами! Домишко был маленький, в одну комнату с отгороженной кухней, посреди комнаты стоял стол, вытянутый к окну, а по обе стороны от стола к стенам прижимались две старые деревянные кровати, застеленные суконными солдатскими одеялами. Стол отодвинули, откуда-то загремела музыка, и он, этот Эльдар, заставлял Светку плясать по-ихнему, по-кавказски. Она не умела, и он с кровати, изгибаясь телом и выбрасывая ноги, пинал ее в такт дикой музыке.

— Неужели ни одного ласкового слова он не сказал тебе? — вздохнул следователь, наглаживая левой, свободной, рукой лысину. — Неужели все таким зверем?

Светка припоминала:

— Не знаю, может, у них это ласковые... «Ты меня любишь?» — спрашивает. Я говорю: «Нет». Он ударит: «Любишь меня?» — «Люблю». — «Родишь мне сына?» — «Нет». Бьет. Говорю: «Рожу». — «Любишь меня?» — «Люблю».

Тамара Ивановна выдержала все. Только жалкий какой-то голос — есть, оказывается, в человеке самоговорящий голос, не мысленный, не угадывающийся, а совершенно самостоятельный, — только этот жалкий голос, по тону Светкин, но и не Светкин, как бы ее самой, но и не ее, в продолжение всей второй половины допроса тыкался ей под сердце и путано наговаривал: «Ничего, ничего... это ничего.. это к нам, принимайте гостей... мы гостям завсегда рады, мы со всяким нашим удовольствием... мы ничего... мы такие...» Этим голосом кто-то, как бы раздвоившийся в ней и счастливый от раздвоения, нахлестывал ее, издеваясь и ликуя, по-свойски находил, где ударить больнее, слащаво поддакивал удару и затаенно ждал, когда в разговоре появится новая подробность, чтобы принять ее с восторгом и значением.

— И что дальше? — спросила Тамара Ивановна у следователя, когда допрос наконец был окончен и листки протокола подписаны. — Где его будут судить?

Следователь с жалостью посмотрел на нее, заметил, что она, поднявшись,

пошатывается, и уклончиво ответил:

— Судят по месту преступления. Но до суда еще далеко-о.

Последнее слово он невольно, ни на что не намекая и ни к чему не склоняясь, отправил в недостижимые выси.

— А что — почему так далеко? — Тамара Ивановна и не заметила, что она отозвалась не на смысл, а на интонацию.

— Много чего требуется. Я еще свидетелей не опрашивал. А свидетели есть. Есть свидетели.

Началась рабочая неделя, наступил понедельник, последний день мая. Ранняя жара наконец спала, распустив зелень до последнего листочка, и тополя, клены стояли в новых и роскошных складчатых одеяниях. Ими наигрывал слабый прохладный ветерок и молодые листочки мелко трепетали, все разом радостно наговаривали. Небо было в тучах, тяжелых и рваных, солнце то показывалось, то пряталось, небо стояло высоко, отодвинувшись от большого города, который всю зиму коптил его нещадно, а теперь перешел на летнюю норму копчения. В квартире свет был приглашен не от туч, а от густой, стоящей стеной, зелени в сквере, куда смотрели три окна из четырех.

Утром, часов в десять, позвонил Цоколь, следователь, и попросил Светку прийти к нему после обеда. Разговаривала с ним Тамара Ивановна. Цоколь успокаивающе сказал, что встреча нужна для прояснения некоторых обстоятельств дела и что он будет разговаривать с потерпевшей наедине. Пусть разговаривает наедине, согласилась Тамара Ивановна, но Светку она одну не отпустит, в прокуратуру они пойдут вместе. Спустя примерно час раздался новый звонок, на этот раз разговаривал Анатолий. Он зашел в кухню к жене взвинченный, лицо напряглось и покраснело. Зашел и вышел, глянув на жену и пожалев ее. Но тут же вернулся.

— Предлагают деньги, — сказал.

— Кто-о-о? — почти спокойно спросила Тамара Ивановна, оборачиваясь от окна, возле которого проводила теперь часы, будто все еще высматривала и ждала ту, прежнюю, Светку, ушедшую из дому в пятницу. Почти спокойно спросила — больней ее боли не бывает.

— Мужской голос был, с акцентом. Предлагают тысячу... тысячу долларов, если заберем заявление обратно.

— Что ты ему сказал?

— А что я ему мог сказать? Послал подальше.

После этого решили идти в прокуратуру втроем. Стояли в коридоре, подпирали стены, пока Светка была у Цоколя... Уже и не маялись, высматривая потерянные часы, — обреченно стояли и молча ждали, что будет дальше. Быстро сновали по коридору работники прокуратуры — все с бумагами и все в спешке, и медленно, затягивая шаг, вступали в него с лестницы приглашенные, озирались, тревожным взглядом обводили коридор из конца в конец, вытягивая по-гусиному шею, заглядывали в нужный кабинет, чтобы показать себя, и, если оставались незамеченными, отыскивали место, где пристроиться. Из кабинетов доносился трезвон телефонов, иногда голоса людей, если переходили они на повышенный тон, но временами вдруг все умолкало, движение прекращалось, и тогда Тамара Ивановна делала усилие, чтобы понять, где она.

Силы ее были на исходе: три ночи без сна. Синяки под глазами, как растворимая под горем краска, расплзлись по лицу, превратив его в сплошное темно-фиолетовое пятно. Камень внутри накалился так, что, казалось, уже и трескался; перед глазами порхали разноцветными бабочками вспышки; пойманной птахой трепыхалось сердце, подбито опадало, исчезало совсем; озноб просекал все тело, казалось, что и конец уже... Но нет, дыхание, спотыкаясь, возвращалось и в глазах опять ненадолго прояснялось...

Цоколь вышел из своего кабинета с чрезвычайно занятым и обремененным видом, не

глядя на Тамару Ивановну и Анатолия, в два шага пересек коридор и скрылся в кабинете прокурора. Он пробыл там считанные минуты и только тогда, на обратном переходе, позволил себе заметить родителей потерпевшей и на ходу бросил:

— Прокурор хочет переговорить с вашей дочерью.

— Мы тоже пойдем! — крикнула ему вслед Тамара Ивановна.

— Нет, прокурор будет разговаривать с вашей дочерью с глаза на глаз.

Потом, спустя две недели после того, что произойдет на следующий день, придется и прокурору района давать свидетельские показания по этому делу следователю областной прокуратуры, и она, прокурор района, скажет:

— В понедельник 31 мая следователь Цоколь доложил мне, что подозреваемый и потерпевшая допрошены, подозреваемый отрицает насилие. Со слов следователя явствовало, что по предварительным данным девственная плева у потерпевшей не нарушена. По окончательному заключению медэкспертизы это оказалось недействительным, но я тогда об этом не знала. Кроме того, Цоколь сказал, что у него есть сомнения в показаниях потерпевшей. Я спросила, на чем они основаны. Он ответил, что у потерпевшей и ее матери сложные отношения, мать держит свою дочь в строгости, дочь ее боится и в связи с этим в показаниях не договаривает. Она несовершеннолетняя, но не учится, часто бывает с подругами на рынке. Я попросила следователя, чтобы он прислал потерпевшую ко мне. С нею хотела войти ее мать, но я не разрешила. Я считала, что, если действительно мать оказывает давление на дочь, то это помешает. С потерпевшей я разговаривала наедине. Потом согласилась принять ее родителей».

Это была женщина немолодая, крупная, затянута,двигающаяся осторожно, находящаяся в стадии борьбы со своими формами, выпирающими, как тесто из квашонки, с загрубевшей темной кожей на лице и жестким голосом. Все в ней было большое — руки, ноги, грудь, голова, все подготавливалось для жизни значительной. Положение ее и было значительным, но, как и все в эти годы в сдернутой с копылков стране, не было оно достаточно прочным. Сидела она за обычным канцелярским столом, явно не подходящим для ее размера, в обычном кабинете, давно не видевшем ремонта, и такой же, как в кабинете у Цоколя, двустворчатый шкаф, забитый бумагами, ютился у стены, и такой же в углу массивный мрачный сейф, не содержащий ни единого секрета хотя бы по той причине, что секреты в этой стране были отменены, и такие же голые, без вождей и авторитетов, стены.

— О чем вы хотели со мной говорить? — не стесняясь, бесцеремонно поторапливая, спросила она, как только Тамара Ивановна и Анатолий устроились перед нею на стульях.

Тамара Ивановна молчала, невидяще уставившись в лицо прокурора. В самые последние минуты перед тем как войти в кабинет, там, в небольшой приемной без секретарши, глаза у нее кое на что прозрели. В дверь, открывавшуюся вовнутрь приемной, несколько раз заглядывали, пока Тамара Ивановна с Анатолием ждали приглашения в кабинет. Тамара Ивановна поднимала голову, уставляла на заглядывающего невидящие глаза и снова опускала их в покорном ожидании. Она подняла и опустила их и в этот раз, и уже опустив, уже за закрытой дверью, увидела высокого, плечистого кавказца, оставшегося недовольным сидящими в приемной. Из-за спины его выглядывал еще один уроженец гор. Она подержала их лица перед собой, соображая, зачем они могут быть ей нужны и вдруг быстро поднялась, открыла дверь. В коридоре их не было. Осторожно приоткрыла она дверь в кабинет Цоколя — они, загородив собою следователя, стояли перед его столом. Ее могли заметить — она прикрыла дверь, оставив щелку, и прислушалась. После гортанных, одновременно вырвавшихся слов, послышался голос Цоколя.

— Мэру пресечения решает прокурор, а не я, — торопливо говорил он. — Уберите это от меня! — вдруг перешел он на требовательный и растерянный шепот. — Уберите немедленно. Не я решаю. Завтра мы приведем его на санкцию. Сегодня я ничего не могу обещать. Завтра.

Только Тамара Ивановна вернулась в приемную, прокурор вызвала их. И вот теперь, словно увеличившись перед Тамарой Ивановной в размере, она спрашивала, уже во второй

раз, для чего они добивались с нею встречи. Анатолий заторопился:

— Дочь у нас... Подверглась изнасилованию. Мы пришли узнать...

— Что пришли узнать?

Тамара Ивановна отчеканила:

— Пришли узнать, что будет с насильником?..

— Для нас он подозреваемый, — назидательно сказала прокурор, откидываясь на спинку низкого кресла, отчаянно скрипнувшего под ней, но устоявшего. И в этом скрипе Тамара Ивановна услышала: фигу вам!

— Пусть он для вас будет хоть святой. Насильник есть насильник. Он изнасиловал несовершеннолетнюю, нашу дочь. Нашу дочь! — подчеркнуто повторила она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться и не сказать лишнее. — И мы пришли узнать, что будет с насильником. Вот!

Прокурор перевела глаза с Тамары Ивановны на Анатолия и опять на Тамару Ивановну. Она тоже удерживала себя от резкостей.

— Вот что, уважаемые родители, — подчеркнуто спокойно сказала, не потеряв самообладания, и в голосе послышалось удовлетворение собой. Я познакомилась с делом вашей дочери. Через этот кабинет проходят десятки... да! — десятки таких дел, и мы научились в них разбираться. Следствие еще не закончено, но вот что я вам скажу. А вы уж стерпите, мы тут пустыми словами не бросаемся. Если бы ваша дочь не захотела с самого начала иметь дело с этим... с кем она легкомысленно поехала... А потом: если бы она захотела убежать от него, а потом — позвать на помощь — она бы это сделала. У нее была не одна возможность избежать случившегося. Она ни одной не воспользовалась...

— Она боялась... — осторожно перебил Анатолий.

— Чего она боялась? На трамвайной остановке десятки людей, она сама это показывает... Броситься к людям за помощью боялась? Или раньше еще, на рынке, где ступить негде от народа, боялась не поехать с неизвестной личностью? Когда бояться, поступают наоборот. Я понимаю ваши родительские чувства, но правосудие должно руководствоваться не чувствами, а намерениями и поступками...

— Да как же не бояться-то! — вскричала, вскочив, Тамара Ивановна, раненная этими двумя стрелами — словами «правосудие» и «бояться — не бояться». — Правосудие! Вот и дайте нам правосудие! Как же не бояться?! — оглядываясь вокруг, обращаясь не к прокурору, а к стенам, еще горше вскричала она. — Среди бела дня убивают — ничего, ни преступления, ни правосудия! Круглые сутки грабят — ничего! Воруя, насилуют, расправляются как со скотом... хуже скота! Нигде ничего! Вы что думаете, — задыхалась она, — что если бы она, наша дочь, на трамвайной остановке бросилась искать защиту, — помогли бы ей? Вы уверены? А я не уверена! И дочь моя была не уверена! Мы что, не знаем, как человека убивают середь толпы, и толпа разбегается! Не знаем мы, как от крика «спасите!» люди шарахаются и зажимают уши! Правосудие! Люди до того напуганы, что они уж и кричать от страха не могут. А вы здесь: он, видите ли, подозреваемый, он несчастный, наша дочь его в несчастье втянула... Мы его поймали, привели вам, преступление как не блюдечке, а вы боитесь его оскорбить не тем словом. Но почему вы не боитесь оскорбить нашу дочь?.. ведь ее избивали, насилуют, как бы вы ни крутили это дело! Это вы привыкли, что насилуют — вообще, везде! А мы не вообще, у нас дочь! Ее же изнасиловали и она же теперь у вас подозреваемая... наравне с этим бандитом!

— Успокойтесь. Или оставьте кабинет, такой тон я выслушивать от вас не желаю.

Тамара Ивановна села, задыхаясь, сердце билось у нее задним ходом. В эту минуту и почувствовала она толчок изнутри, мгновенный и решительный, который придавил ее к стулу и заставил замереть. И то, что сказалось ей или приказалось, что отчетливо прозвучало в ней, заставило ее, как только она пришла в себя, по-другому взглянуть и на прокурора, объяснявшего что-то Анатолию, и на проводимое этой женщиной правосудие, и на шумящую за окном жизнь, изо дня в день шагающую по своим законам. Казалось, со всем она примирилась и всему поняла цену. Прислушавшись, она стала различать слова

прокурора:

— У нас сейчас только показания потерпевшей и подозреваемого. Свидетели допрошены не все, нет окончательного заключения эксперта. Когда следственные мероприятия будут закончены, тогда и будет решаться вопрос о пресечении меры содержания.

«Дело ясное, что дело темное», — подумала Тамара Ивановна и спросила на удивление спокойно:

— Что такое санкция?

— Какая санкция?

— Ну, что такое привести на санкцию?

— Привести на санкцию значит объявить подозреваемому его дальнейшее положение по истечении срока задержания, — всматриваясь в Тамару Ивановну и настаиваясь от ее вопроса, ответила прокурор. — Вы хотите знать, какие могут быть санкции? Может быть или заключение под стражу, когда это необходимо, или, когда это допустимо, освобождение под залог.

— И пока ничего не ясно, как повернется дело?

— Пока ничего не ясно.

— Могут и отпустить?

— Под залог. Я сказала: когда это допустимо. Такая мера пресечения предусматривается законом. — Прокурор поднялась, оставив последнюю фразу для большей четкости быть произнесенной на ногах. — Если вы не доверяете нам, у вас есть право обратиться в областную прокуратуру.

Тамара Ивановна взглянула на нее с укоризной:

— Никуда мы обращаться не будем.

Выйдя от прокурора, заторопились к телефону позвонить Светке. Светка давно была дома, ее, как и договаривались, привез Демин, но отвечал по телефону Иван. Он говорил с набитым ртом, и понять его было трудно. Тамара Ивановна вяло прикрикнула на сына, сказав, что она надеется, что уши у него не забиты жвачкой, и он слышит ее, и приказала, чтобы он не выходил из дома, пока они не вернутся. Жвачка в ушах развеселила Ивана; сглатывая, он смеялся и кашлял одновременно, но обещал быть дома и дверь посторонним не открывать.

Вечером стало теплее и мягче, вместе с западающим солнцем, совсем освободившимся от облаков, горой стоящих над головой, натекала совсем летняя спелость нагретой земли. Тамара Ивановна, невесть с чего приободрившаяся, вдруг решила, что сегодня надо сделать ужин. «Сделать ужин» означало, что они не станут обходиться чем попало, как всегда в последнее время, а устроят что-нибудь повеселее. Анатолий обрадовался и испугался: что это — приходит она в себя, приказав себе смириться со случившимся, или просто решила отделить жирной чертой последние черные дни от наступающих, ведущих неизвестно к какой, но развязке? Тамара Ивановна смотрела перед собой тяжелым решительным взглядом и шла быстро, встречный народ обтекал ее с опаской. Анатолий едва поспевал за нею; они почти не разговаривали. На рынок заходить не стали, тошно было смотреть на рынок, да он уже и пустел. Недалеко от дома зашли в большой гастроном, Анатолий взял бутылку водки и бутылку вина; Тамара Ивановна — сосисок, яблок и большой пышный торт, над какими сама же всегда и издевалась, называя их «парфюмерией». Но издевалась не потому, что брезговала, а кошелек в кармане не велел. Но сегодня — эх, изобилие! Эх, мать его растак! и так! и так! и так! — подумала и взяла еще связку бананов, брезгливо, на вытянутой руке, подержала ее, приняв с весов, за отросток и кинула в широкий зев сумки. Наполненная сумка заинтересовала ее; Тамара Ивановна отыскала столик, не выпуская из левой руки коробку с тортом, правой потербила сумку, расправила ее, всматриваясь в нутро и размышляя. Сумка была черная, вместительная, продолговатая, с легко и ловко едущим замком, из прочной искусственной ткани, как теперь все они; она могла казаться маленькой при малой загрузке,

а могла быть большой. Оглянувшись, найдя Анатолия взглядом уже возле выхода, подхватила сумку, расчетливо встряхнув ее в руке, и заторопилась.

Светка не вышла на голоса; Тамара Ивановна решительно толкнула дверь в ее комнату — Светка в полумраке, с зашторенным окном, полусидела-полулежала, навалившись на спинку кровати. Она даже головы не повернула к матери. Пока ее дергали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и говорила, изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную, надрывала сердчишко, но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, доклевывающий сердце, разговор с собой. Там ее спрашивали, что с ней было, здесь она спрашивала себя, что с ней будет. Там ее ответы заносили на бумагу, здесь же какой-то неумелый самописец, не зная, что писать и не слыша ответов, рвал и рвал на куски обожженную душу. До сей поры она и не подозревала, какая бездна, недремная и безжалостная, скрывается в человеке и какие изнуряющие ведет она беседы.

Тамара Ивановна положила дочери под руку связку бананов.

— Чего это ты? — дрогнувшим голосом удивилась Светка.

— Ешь! Не пропадать же теперь! Нет, девка, теперь надо быть сильной. Сильнее себя. Ешь и выходи, ужин будем делать. Я и торт купила.

— Сладить будем? — Светка выговаривала слова вязко, через слипшееся горло.

Тамара Ивановна будто и не заметила вырвавшегося Светкиного вызова. Отчаянным взмахом руки слева направо она перечеркнула перед собой все, что навалилось, и сказала:

— Пожуй и выходи. Нечего тут залеживаться, нянькаться в себе... — она не договорила, никакое просившееся сюда слово произносить не хотелось. Опять больно пронзило ее, как изменилась дочь всего в несколько дней: маленькая, как у подростка, голова, слабая, раздавленная грудь и сжатые неналившиеся ноги. Почувствовав этот взгляд и угадав, о чем думает мать, Светка решила:

— Мама, можно, я сегодня пойду к бабушке ночевать?

— Почему? — было отчего подкоситься ее ногам: Тамара Ивановна опустилась рядом с дочерью. Было отчего: она сама собиралась отправить Светку на эту ночь к Евстолии Борисовне, Светка могла помешать ей сегодня. Но она собиралась заговорить об этом позже, при всех за столом, чтобы и тени подозрения не вызвать, будто это нужно ей. Вот пожалуйста — как подслушала Светка.

— Можно?

— Иди, если так хочешь. Но вечер пробудешь дома. К ночи пойдешь.

Ивану Тамара Ивановна заявила, выходя из Светкиной комнаты:

— А ты, дружок, сегодня из дома ни ногой. Понял?

— Понял. Но жду разъяснений! — энергично отозвался Иван.

— Побудем вместе сегодня. Вот и все разъяснения.

— Маловато, но на сегодня хватит.

— Почисти картошку. Ужин будем делать, — уже в который раз за вечер, как заклинание, повторила Тамара Ивановна.

А что было и делать?! Сварили картошку и сосиски, достали из холодильника банку с огурцами, наткнулись там же, в холодильнике, на банку грушевого компота с большими склизкими кусками груш и тягучим соком, остатки сыра, остатки клюквы из морозильника, остатки конфет в коробке, залежавшиеся еще со дня рождения Тамары Ивановны в апреле.

Светка по зову матери вышла натереть свеклу и морковь, постояла, постояла с теркой в руке, сляясь отыскать в памяти, как это делается, — и не отыскала, спряталась опять в своей комнатке. Тамара Ивановна махом натерла сама, добавила в эту кашлицу еще и тертого чеснока, заправила майонезом и снова окликнула Светку, заставила ее накрывать на стол. Выставили все, что было, словно больше ничего и понадобится не могло; натыкались в тесной кухонке друг на друга и друг друга задирали; Светка завизжала девчоночкой, когда мать, как в детстве, оттянула ее с размаху ладонью по выставленной в наклоне попе, Иван неестественно громко смеялся, отец покрикивал, торопя и потирая руки. Стол накрыли в

большой комнате, придвинув его к дивану; Светка и Иван устроились рядом на диване, мать напротив, поближе к кухне, отец сбоку, поближе к спальне. Светка утонула в мягком диване, только головенка торчала над столом, и обрезанное лицо ее, выглядывающее откуда-то издалека, из чужих приютов, было как бы и не ее: затертые пудрой ссадины, заострившиеся скулы, подернутые пленчатой зыбью глаза. Но у них у всех лица были не свои, они все с болью смотрели друг на друга. Один Иван выглядел молодцом и, только спохватываясь время от времени, обводил всех тревожным взглядом.

— Кто как хочет, а я водочки, — заявил Анатолий, налил себе полстакана, окликнул жену, и она кивнула в ответ, протянула для звона маленький хрустальный стаканчик с вином и сказала детям:

— А вам нельзя! Рано еще. Подрастите, ума наберитесь. — Она испытующе смотрела на Ивана. — Совершеннолетними станьте. Не торопитесь.

Иван сказал — должно быть, потому, что мать обращалась к нему:

— А вы, значит, раз вы совершеннолетние, выдуете у нас на глазах две бутылки с воспитательной целью?

Анатолий громко и облегченно, с удовольствием освобождая от тяжести грудь, загоготал.

— Язва же ты! — сказала Тамара Ивановна Ивану, чуть усмехнувшись, помолчала нервно, теребя щеку, и вдруг позволила: — А, хотите, так и выпейте маленько, для памяти. — Последние слова, чтобы не слышалось в них ничего подозрительного, она произнесла быстро, успев поджевать их.

— Да мы и не хотим вовсе, — пробурчал Иван. — Успеем. Подождем совершеннолетия. Нам это нипочем. Правда, Светка?

Светка с испугом взглянула на брата и еще больше втянула голову в плечи и склонилась над столом.

— А я так и совсем не собираюсь пить, — продолжал Иван и покосился на мать: не подумала ли она, что он брякнул свое решительное заявление впопыхах, чтобы выйти из неловкого положения: Светке сейчас задавать такие вопросы не следовало. — Я из чувства противоречия не буду пить, — пришлось настаивать ему. — Потому что все пьют. А я не буду.

— И не надо! — с лихостью подхватил Анатолий. — Молодец! У тебя и гены с моей, с отцовской стороны, не подорванные...

— С моей, что ли, подорванные? — не пропустила Тамара Ивановна.

— И с твоей целехонькие. Хоть на базар неси.

— На какой еще базар?! Что ты мелешь?

— Да это только так говорится. Когда продукт хороший, чтобы выдать знак качества — вот и говорят. А так-то, конечно... какой базар? Ты правильно постановил, Иван. Это бедствие сейчас: пьют беспробудно и даже без закуски. С пьяным народом каши не сваришь. Кому-то надо пример показывать.

— У нас в школе их «горнистами» зовут. На перемене голову запрокинут, бутылку с пивом в зубы... совсем как горнисты на пионерской зорьке! На глазах учителей. И те молчат. Торопятся мимо проскочить, будто не видят

— По губам бы их, по губам бы!.. — тихо и бессильно отозвалась Тамара Ивановна.

— Свобода, мама, права человека. Теперь выпускной экзамен такой есть: ЧиО — человек и общество. О правах человека. У нас недавно один пятиклассник в суд на директора подал.

— А это еще что такое? — хохотнул Анатолий, пристально вглядываясь в свой опорожненный стакан. — По загровку, что ли, схлопотал малец-то? Не вытерпел директор?..

— Нет, за рукоприкладство его бы четвертовали. Наш директор дал указание убирать мусор на школьном дворе. Выгнал на воскресник. Массовая эксплуатация детского труда. Теперь по загровку-то ему дадут..

— Господи! — без страсти, уставшим, тусклым голосом взмолилась Тамара Ивановна и

решительно откинулась на спинку стула, покачалась, дав ему поскрипеть. Ни на кого не глядя, сказала, отвернув глаза в окно: — Пьянство и трусость, пьянство и трусость! Куда мы на таких рысаках управим?! Что будет?

— Что-нибудь да будет, мать...

— Мне не надо «что-нибудь». Сколько можно: «что-нибудь» да «что-нибудь». Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер... и он уползает или отбивается, а не лапки вверх...

Говорили... и о чем говорили — Бог весть! Лишь бы не задевать свое, кровянившее сердце, лишь бы дать хоть немножко притихнуть боли. И все равно задевали, вздрагивали испуганно от неловкости и забывчивости, направляли разговор на постороннее, где, казалось, никак уж невозможно коснуться раны — и опять касались, опять принимались взглядами предостерегать друг друга. Тамара Ивановна слушала строго и рассеянно, встречаемая редко, вслушиваясь не в слова, а в голоса, и по голосам определяя, кто как держится, у кого остались еще силы и у кого уж не осталось ничего, кроме тяготы перемогания. Светка умница, она чутьем раненого зверька поняла, что лучше всего свои раны ей зализывать не дома, где от каждого ее вздоха содрогается вся семья и где одни взгляды станут постоянно беречь душу. Да какая она умница, Господи, какая она умница?! — простодырая она дура, больше никто! Но и этот голос пресекала в себе Тамара Ивановна, и его принималась она гонять, как бесенка, чтобы и духу его не осталось.

Она почти ничего и не ела — поковыряла сосиску и поклевала клюкву. Не до еды было и Светке; Светка намяла в тарелке невообразимую кашу из картошки, огурцов, сосисок, бананов и ягод и забывчиво смотрела, что у нее получилось. Иван успевал говорить и намолачивать, за три дня, в которые в доме все пошло кувырком, он успел нагулять аппетит. Анатолия выручала водка, он выпил еще полстакана, забывая в дальний угол какое-то колючее осколочное напряжение, терзавшее грудь, и решительными взмахами набрасывал в опустевший желудок порцию за порцией. Разговор продолжался, Тамара Ивановна услышала, как Светка сказала, не владея голосом, — хотела подтрунить над братом, а получилось жалко, слезливо:

— Иванка у нас философ!

Анатолий, теряя пыл, поддаваясь усталости, но по-прежнему шумно — лишь бы не оборвался этот сторонний разговор, лишь бы не остаться им, боящимся друг друга, наедине — возражал Ивану:

— Это ты, философ ты наш, загнул. Как это можно: все ошибаются, а один не ошибается? Одному, да будь он семи пядей во лбу, против всех не устоять. Все равно точку зрения всех принимать придется. В тебе сейчас задира сидит, тебе лишь бы спорить.

Ивану и верно это было в удовольствие — спорить. Он говорил:

— Точка зрения всех... А что такое точка зрения всех? Это же не истина... И все — это, конечно, не все, а большинство. Как один — это не один, а меньшинство. А большинство внушению поддается легче. Разве не так? Оно этим и утверждает себя: нас много, мы не можем ошибаться. Да вы потому и ошибаетесь, что вас много. В толпе думать просто невозможно, там порыв, извержение эмоций... И получается пустое множество. Арифметическое: раз-два-три-четыре-пять, и сто, и тысяча, и пять тысяч... Да нет, даже не один-два-три-четыре-пять, не целые числа, а дробь. В числители у этой дроби, где личность, значение личности, там мизер... А в знаменателе, где подчинение общему мнению, там да-а! там такая сила, такие аргументы и факты, только головой верти...

— Ты бы, дружок, поосторожнее с дробью-то... — решил предостеречь отец. — А то загнут тебе салазки, сделают из твоей единицы колесо.

— А почему я должен осторожничать? Что есть, то и вижу. Что вижу, то и беру в расчет. Это и есть взгляды — самому смотреть, а не слушать, что на уши вешают.

Тамара Ивановна из своего далека спросила:

— Где это ты такого гладкого ума набрался?

— А нам, мама, теперь некогда до тридцати лет на печке лежнем лежать.

— Выучись сначала, отслужи, женись, а уж потом и забивай себе голову.

Иван хмыкнул:

— Да ведь и служить, и учиться, и жениться тоже надо с умом.

— Ум в самой жизни... как живешь. А не в словах.

— Вот мы свои слова-то и отдали кому попало. Теперь слушаем чужие.

Зазвонил телефон; Анатолий, не поднимаясь, подпрыгал вместе со стулом к тумбочке, снял трубку, мгновение ждал в тревоге, с изменившимся, приготовленным для тяжелого разговора, лицом и вдруг просиял:

— А-а, мать! Это ты? А это мы. Сидим, чай пьем, я даже водочки немножко принял. Все хорошо у нас, все хорошо. Скоро за торт возьмемся. Дела идут. Что ты говоришь? Отпустить Светку к тебе? Погоди, выясню.

— Скажи, что отпустим и приведем, — велела Тамара Ивановна.

— Отпустим и приведем! — доложил Анатолий. — А то пришла бы к нам сама на торт. Ноги болят? Так они у тебя давно болят, уж хватит им болеть. Ты, мать, им поваду даешь. Ты им не давай повады, командуй ими. Ладно, жди. Отпустим и приведем.

Тамара Ивановна пытливо взглянула на дочь, та отрицательно покачала головой: нет, они с бабушкой не договаривались. Это что же тогда? Как по заказу. Уж больно подозрительно выстилается дорожка. А ведь совсем узкой казалась она, не продраться, и вдруг чуть ли не выходные ворота раскрываются. Пожалуйста! Это для чего же они так широко раскрываются?

Она быстро, через «не хочу», набросала в себя еду: силы ей понадобятся. Звонок Евстолии Борисовны подстегнул: а ведь пора заканчивать застолье. Засиделись. Пора выставлять на стол торт, так неожиданно нагрянувший в такой день в гости. Им, этим изделием сладкой жизни, и отпечатается потом в памяти навсегда сегодняшний грустный вечер. Горе-горькое тоже любит взблеснуть чем-нибудь таким, вроде жемчужного зерна.

Она никого не торопила, а заторопились вдруг все сразу, точно неслышный сигнал прозвучал, отсчитавший положенное время. Торт съели без остатка, но в спешке, без восторженных восклицаний и удовольствия. Перестал умничать Иван и обиженно замолк, никто его рассуждения больше не поддерживал; натужно, то вздрагивающим, то соскальзывающим от усталости взглядом осматривалась вокруг Светка. Ей не терпелось уйти. Тамара Ивановна опять почувствовала в себе подталкивающее жжение: дальше, дальше! Отдохнули, побыли вместе, поиграли словами, чтобы ничего не сказать, пободрились всяк на свой манер — Господи, да разве этим притворством унять боль, разве заделать какой-то там кратер, из которого она выбрасывается?!

Она приобняла Светку, когда та уходила, приподняла обнимающей рукой ее лицо и заглянула — и ей для памяти, и себе. Светка убрала глаза. Обычным голосом, не позволив ему дрогнуть, сказала дочери, чтобы она отоспалась и без ее материнского звонка никуда не выходила. Самой Тамаре Ивановне было не до сна. Чтобы отдаться сну, надо вместе с одеждой взять и выпростаться из себя, как из кукольной оболочки, а она в такие была закована кандалы, что, как ни сдвигай их, как ни укладывай в поисках облегчения, они не переставали выгибать ее в муке.

Но прежде всего: предстояло Тамаре Ивановне в эту ночь еще одно дело, и было оно сильнее двухсуточного измождения без сна.

Утром, в самом начале рабочего дня, она была уже возле прокуратуры, прохаживаясь на противоположной стороне улицы вперед-назад и не выпуская из виду обычную, слишком скромную для этого пугающего заведения, дверь, безвкусно обитую узкой вагонкой. День опять собирался быть жарким, угарная сушь настаивалась в воздухе и надувала пыль на только что распутившиеся тополя. Одним концом, близким, улица выходила к рынку, вторым в центральную магистраль, которая делила старый район города на две части: одна прилегала к Ангаре, другая к горе. Туда и сюда перед Тамарой Ивановной народ двигался густо и невесело, с выражением общей и привычной повинности. Над рынком, над всеми его

торговыми окраинами и рукавами, как над чадящей печью, висело мутное желто-мглистое облако. Автомобильное движение на поперечной улице перед рынком было одностороннее, убегающее влево, и машины, припуская от светофора, взрывались так, что саднило в ушах.

Из дому Тамара Ивановна ушла рано — пока не поднялся Анатолий. Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился ее искать. А в прокуратуре — значит тягомотина бескрайняя. Она тут и была, приготовившись к какому угодно ожиданию. Больше всего она боялась, чтобы из прокуратуры не вызвонили и не вызвали Светку. Светка могла ей помешать. Поэтому в записке Тамара Ивановна еще раз оставила для дочери наказ, чтобы ни под каким вызовом от бабушки она не выходила, пока не услышит ее, материнский, голос.

Прошел Цоколь, вышагивая с размеренным гусиным достоинством; дверь за ним закрылась бесшумно. Долго не было прокурора, и Тамара Ивановна забеспокоилась, не пользует ли она каким-нибудь незаметным служебным входом, чтобы избежать нежелательных встреч. Прокурор приехала в одиннадцатом часу, тяжело выбралась с заднего сиденья черной иномарки, которых расплодилось, как саранчи, так много, что в названиях их Тамара Ивановна давно уж не разбиралась. Даже на улице прокурор имела величественный вид: прямая, с высоко взбитой прической, в светлом костюме. Кто-то выходил и придержал ей дверь. Тамара Ивановна напряглась: вот теперь не зевай, теперь в любую минуту могут доставить твоего... Как его назвать? Никак его не хотелось называть, скоро у него должно быть новое название.

Улица была заставлена плотно — и все магазинами, киосками, ресторанами; никакому иному учреждению, кроме прокуратуры, сюда бы не втиснуться, а прокуратуру для того, надо думать, и подселили в это торгово-развлекательное царство, чтобы население его, падкое на грех, о законе и возмездии не забывало. Удавалось ли неподкупным блюстителям закона произвести впечатление на ловких рыночников — неизвестно, наяву же было то, что прокуратуру и видно не стало, и слышно не стало, и надо было пять раз пройти мимо сиротского вида двери, прежде чем удавалось разглядеть столь же, как дверь, малоприметную вывеску.

Не прошло и получаса после приезда — прокурор вышла и уехала.

Тамара Ивановна испугалась. Что бы это значило? Какие там случились перемены? Или «санкция» откладывается? Но, кажется, ее нельзя отложить даже на завтра, трехдневный срок после задержания заканчивается сегодня. Не наступил положенный час или там какие-то хитрости? Она вдруг ощутила сильную жажду, терпение ее потребовало, чтобы его смочили, почти физически она представляла, как по нему, по ее терпению, коробом поднявшемуся где-то внутри, пробегают трещины. Но как зверь, обходящий свой участок, она подошла прежде к прокуратуре, постояла, всматриваясь в дверь, и только потом направилась на рынок. Пока шла, что-то прояснилось внутри, и пить захотелось не чего угодно, не какой угодно отравы, лишь бы залить жажду, — захотелось острого, до печенок пробирающего, кваса. Вот такими заданиями и надо держаться, пока не дойдет до дела: отыскать и напиться квасу, посмотреть, что просят перед новой картошкой за старую, потом что-нибудь еще. Хорошо, что успели посадить картошку. Чем бы ни обернулись ее планы, а картошка без едоков не останется.

Встал перед глазами отец, потому что картошка высаживалась в его огороде и была под его присмотром, но Тамара Ивановна, морщась от боли, которую предстоит испытать отцу, стряхнула это видение. Сейчас ни до чего такого, что могло бы ее расслабить. Сейчас ей никто не нужен.

Зажав сумку подмышку, старательно оберегая ее, она дважды прошла по рядам в крытом рынке с высоким прозрачным потолком, заглядывая за спины продавцов, где выстроены были на полках целые полчища банок и бутылок с яркими наклейками, и только потом сообразила: квасу среди них быть не может. Не вышел породой. Надвинулось чужое изобилие, и все местное в год исчезло, спряталось стыдливо или вовсе прекратило существование. Она вышла в уличные ряды, где и торговый народ и товар были попроще,

обошла и их, только чтобы занять себя, то забываясь до полного непонимания, что ей здесь надо, то спохватываясь и начиная опять ощущать сухость в горле. И с каким-то странным утешением поняла: бесполезно искать. «Все правильно», — думала она, стоя сбоку от закрытого ларька, воняющего краской, и озирая бесконечную торговлю, которая перед воспаленными от бессонницы глазами вспучивалась как огромная и радужная муравьиная куча. И уточнила: «Все у меня правильно».

Она вернулась в крытый рынок, отыскала возле правой боковой стены краник под раковиной и, наклонившись, выгибая неловко и больно голову, прикинула к нему. Пила и плескала в лицо, пила и плескала. Под крышей, как под небом, порхали голуби и воробьи. «А где же здесь птица-то пьет? — стала размышлять. — Еды здесь натряхивается вдоволь, а вся вода закупорена, до нее не добраться. Или в крыше есть дыры? Но если бы были дыры, птицы сюда, под сытую жизнь, набиралось бы тучами. Вот ведь как: куда человек, туда и голубь с воробьем. Человек повалил из деревни в город, — и эти, пернатые-крылатые, полетели вослед. Человек в городе устремился за прилавок — и воробей тут, начирикивает: торгуй, торгуй! А ведь было время — подбадривал: паши, паши!»

Гуд стоял плотный, вязкий, отупляющий. Не вырывались из него ни вскрики, ни удары, все перемешивалось и тонуло под безостановочным движением тяжелых лопастей. Картины наплывали одна на другую, кружение людей кружило голову, фигуры становились несоразмерными, то очень маленькими, детскими, то пугающе-большими, с огромными лицами. Тамара Ивановна прислонилась к стене, боясь упасть, и ухватилась глазами за сидевшего неподалеку спиной к ней на металлической тележке парня. Постепенно все установилось на свои места и вошло в свои размеры. Постояла еще, прислушиваясь к себе, проверяя глазами надежность людского круговорота, и вышла.

За какие-то полчаса все как бы онемело в ней. Как бы коркой покрылась сплошная рана и слабо понывала в глубине, присасывая и подсушивая кровянящий испод. Должно быть, боль тоже устает болеть и дает себе отдых, когда у жертвы кончаются силы. Жара набухала, солнце, взобравшись в зенит, откуда никакие городские нагромождения не могли его загородить, слепило нещадно. Но удивительно: Тамара Ивановна то ощущала жару, то не ощущала, словно то входила в раскаленную зону, то выходила, и солнце перед нею то горело в обруче ярким кипящим пламенем, то разлохмачивалось в дымный клубок. Пора было возвращаться. На торговой улице, несмотря на жару, народ сновал еще гуще и, как всегда в многолюдье, не обращал внимания друг на друга, бессознательно обтекая друг друга с помощью какого-то особо развившегося навигационного чутья, — и, значит, вызвать подозрение она не может. И вдруг испугалась, подходя к двери, что там, за дверью, время в ее отсутствие могло двигаться быстрее, чем здесь, на улице, и много чего там могло произойти. «Ротозея», — сказал кто-то ей бесстрастно и внятно. Стараясь не торопиться и не боясь больше обнаружить себя, она вошла внутрь, по широкому и длинному маршу с ажурным металлическим ограждением поднялась на площадку, с которой прямо уходило небольшое крыло с кабинетами по одну сторону, а влево остаточным довеском подняты были еще четыре ступени в основной коридор, где и размещались кабинеты прокурора и Цоколя. И тот, и другой были замкнуты. Следовало подумать, что бы это значило. Неужели эту самую «санкцию» решили устроить где-то в другом месте? Бывает такое или нет?

На улице она заставила себя успокоиться и нарочито замедленным шагом принялась вымерять метров двести в одну сторону и столько же в другую, пока такая маета не показалась ей совсем уж бессмысленной: не в клетке же она в самом деле, не на поводке же! Она почти в панике стала искать, куда пристроить себя, заходила в магазин запчастей, натужно всматриваясь в кучу железяк на полках и в витринах, что-то напоминавших и предлагавших свои названия, устремлялась в огромный, на весь квартал, хозяйственный магазин и тут же выскакивала, чуть не бегом бежала к оставленной двери и заходила внутрь. Цоколь вернулся, перед ним кто-то сидел, Тамаре Ивановне показалось, что это старик из общежития для малосемейных; прокурора по-прежнему не было.

Рядом, напротив прокуратуры, сжатый домами, был малозаметный проход во двор, и

там, на задах ухоженной архитектуры, лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих сооружений неизвестного назначения: низких, вдавленных в землю, с плоским верхом, крытым то шифером, то толью, то ржавыми железными листами, где кирпичные, где деревянные, где с одним-двумя подслеповатыми окошками, где совсем без них, — все обветшавшее, скособоченное, вцепившееся друг в друга, чтобы не упасть. Тамара Ивановна заглянула сюда случайно, тычась в любой угол, в любую щель, лишь бы убить те короткие промежутки в десять-пятнадцать минут, которые она позволяла себе между проверками прокурорского кабинета. Возле глухой кирпичной стены одного из бесформенных сооружений, уныло обживших двор, стояли мусорные контейнеры, доверху набитые картонными коробками, за ними куча битого кирпича. «Вот тут и пристроиться, тут и дать ненадолго отдых ногам», — решила Тамара Ивановна. Возле мусора — это даже и хорошо, ее будут принимать за бомжиху, караулящую добычу. Этого ей и надо, на бомжих даже внимание обращать брезгуют. Она соорудила из кирпичей сидение, подстелила сверху чистый лист картона и с пристоном опустилась, вытянув ноги и прикрывая ладонью от солнца глаза. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — приласкивала она себя, чуть раскачиваясь и обирая этими осторожными движениями изнутри страхи и неприятный едкий нагар, которым она, казалось, пропахла до самых печенок. Дверь прокуратуры отсюда не видна была, надо было подниматься и за десять шагов выходить на прямую обзорную линию. Так и придется делать, только такой отдых с подпрыгами она и может себе позволить.

Дважды она поднималась, смотрела поверх двигающихся голов, в разрывах этого бесконечного движения отыскивала влипшую в стену дверь и скорей опускалась обратно.

Жара уже стала не жара, а какое-то мягкое колыхание, обвевающее и укутывающее приятным прикосновением волн. Уличный шум поднялся в высоту и ходил там приглушенными однообразными порывами. Где-то неподалеку сыто наговаривал голубь. Нагревшаяся земля, не забитая здесь асфальтом, отдыхивалась забродившими испарениями вековых нечистот. Перед глазами поплыло марево, сквозь него маячили серые громады выходящих в улицу зданий; марево, уплотняясь, превратилось в туман, плывущий белыми лохмами, улица в нем опрокинулась, преображаясь в выглаженное пустынное поле. И только уж после обросло оно скудной жизнью.

Это даже и не поле, а большая покатая поляна на спуске с горы, заваленная с краю вросшими в землю каменистыми валунами. Внизу земля выравнивается и снова идет на подъем, там густо зеленеет кустарник, цветущий мелкой желтой россыпью. По окружью поляны лес, но редкий, обдерганный, как на брошенных лесосеках. Небо тусклое, бело-дымчатое, воздух в расплавленном горячем солнечном свете.

Тамара Ивановна, что-то высматривая, отыскивая, бродит среди валунов в меднистых крапинах, и на какой она взглянет, тот начинает до боли в глазах искриться. Она прикрывает глаза ладошкой и смотрит сквозь щели между пальцами, во все нарастающем нетерпении продолжая что-то искать. Что? — никак не может вспомнить, уверенная, что увидит — узнает. Никогда прежде она не бывала здесь, и все для нее здесь чужое, властно затянувшее ее сюда по какому-то тайному сговору. Она кружит слепыми движениями, то чуть поднимаясь в гору, то спускаясь, но не сбиваясь с направления, которое ведет вдоль склона к двум корявым и низкорослым соснам с редкими, широко растопыренными, ветками. Сразу за соснами земля круто уходит вниз, и они четко вырисовываются в пустоте как входные ворота в пугающую и манящую неизвестность. Тамара Ивановна на них и не смотрит, как пойманная на крючок рыба не видит рыбака и, делая под неспешным подтягиванием лески подныры то влево, то вправо, продолжает неумолимо приближаться к встрече. Но нет в Тамаре Ивановне ни отчаяния, ни страха, и, кажется, ей доставляет утешение, даже радость уже то одно, что она может самостоятельно загибать то в одну сторону, то в другую, и, обманывая себя, всматриваться под ноги, отыскивая что-то совсем бессмысленное и лишнее в ее положении. В желтых цветочках на низком кустарнике она узнает курильский чай, валуны начинают обрастать мелконьким и ломким мхом-ягелем, похожим на

прохуdivшуюся, истыканную солнечными стрелами, бересту; возвышение слева вдруг отступает, и одновременно полоса кустарниковых зарослей в сырой низинке разворачивается и круто уходит вправо. Перед Тамарой Ивановной в одно мгновение открывается огромный и пустынный простор с лысыми сопками в солнечной дымке далеко впереди и полукружьем лесистого берега по краям обрыва. А что там, в этих обрывистых берегах за соснами, — озерная ли вода в горах, или давний-предавний разлом, обшитый корнями деревьев и трав, — понять нельзя. Ветер при ее приближении к соснам бьет короткими и душными порывами.

Неожиданно доносится глухое, пробующее голос, ворчание грома. Гром почему-то пугает Тамару Ивановну больше всего, словно, готовая к чему угодно, его-то она и не ожидала. Она сбивается с ноги, оглядывается, тянет голову, чтобы скорей отыскать что-то, так и не найденное, захлебывается горячим воздухом. И раз за разом приостанавливается, ждет: вдруг это вовсе и не гром, вдруг это всего лишь камень сорвался и прокатился гулко по заваленной щебенкой гряде? Или вдруг это так исказило далекий крик зверя? Но гром рывкает так близко и с таким отчетливым вышним рыком, раздающимся прямо над соснами, что Тамара Ивановна едва не падает на колени. И прислушивается. Гром еще катит перед собою стукоток, перемещаясь вправо, где и туч нет, где солнце только теперь испускает из себя радужную маревую завесу, как вдруг невесть откуда, кажется, что сразу отовсюду, слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопящийся предостеречь:

— Томка-а-а-а!

Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно, и слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение. Ошеломленная, Тамара Ивановна замирает.

— Томка, воротись! Томка-а-а! — истошно зовет отец, и гром опять грозно гремит вслед его словам.

Тамара Ивановна понимает, что надо торопиться, и успокаивается. Торопиться не возвращаться, как велит отец, а вперед, только вперед. Другой дороги ей нет. И, больше уже ни на что не отвлекаясь и не оглядываясь, чувствуя лишь душное дыхание солнца, с окаменевшим сердцем, уверенно, как по расстелившейся тропке, шагает в сторону двух стоящих на краю обрыва сосен.

— Томка-а-а-а!

Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменистой земле деревьев с короткими верхушками и вразной торчащими ветками, еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя, когда Тамара Ивановна разомкнула глаза и огляделась. Не сразу вспомнила она, где оказалась. Сон был так тяжел и так липок, такой душной пеленой застелил он сознание, что и выдираться из него пришлось долго и мучительно, не понимая, откуда и куда выдираешься. Но когда наконец выдралась, когда с тяжелым вниманием огляделась и вспомнила, кто она и где она, в ужасе она давнула себя так, приподняв и молотом опустив верхнюю часть туловища на нижнюю, что захрустели косточки. Шел четвертый час пополудни. Она проснулась в поту, больше часа плавилась под кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыни, не соединился ли он, как и гром небесный, еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком?

Она медленно поднялась со своих кирпичиков и вдруг рванулась в развороте: здесь. Сумка, оставшаяся за спиной все это время, пока она спала, была на месте. Ее, спящую, уткнувшую голову в колени, должно быть, и верно приняли за божиху, утомленную лазаньем по городским свалкам. Схватив сумку и нащупав в ней знакомые очертания, Тамара Ивановна медленно, запретив себе торопиться и не веря уже ни в какую удачу,

сделала те самые десять шагов, которые позволяли увидеть на противоположной стороне улицы дверное бельмо, — и увидела: возле двери толкуются трое или четверо кавказцев. Не помня себя, пересекла она улицу, расчетливо обошла с правой стороны, ближней к стене, кавказцев, убедившись, что ее парня среди них нет, отодвинула одного из них плечом, чтобы протиснуться и показать себе, что никого и ничего она не боится. Так же медленно, стараясь не сбиться с полусонной неповоротливости, обманывая ею себя и стараясь обмануть кого-то еще, поднялась в прокуратуру. Коридор был почти пуст, только в дальнем его конце маячили две фигуры. Дверь к прокурору прикрыта и безмолвна. Тамара Ивановна с безжизненным спокойствием подала ее от себя и в образовавшуюся щель увидела: как раз там, возле самой двери справа, где только вчера сидела она сама, маясь в нетерпении, когда их с Анатолием примет прокурор, сидел теперь тот, кто и был ей нужен. В синей джинсовой куртке, с обросшим лицом и хищно опущенным носом, он стал поднимать глаза. Успел ли он их поднять и узнать ее, она не знала, но за дверью было по-прежнему тихо. Вот теперь все сжалось и напружинилось в ней до предела; казалось, еще мгновение, и она бы вырвалась из чего-то удерживающего и взвилась в воздух, но за это мгновение она успела поднять к груди сумку, на ощупь отыскать и наготовить в ней то, что было нужно, и выставленной вперед сумкой снова приоткрыть дверь. Теперь он узнал Тамару Ивановну, лицо его перекошилось то ли от брезгливости, то ли от ужаса. Сумка грохнула выстрелом. Тамаре Ивановне на всю жизнь запомнилось: парень, казалось, начал привставать, чтобы броситься на нее, но это грудь его приподнялась в последнем вздохе, и, прихватив ее рукой, он откинулся на спинку стула, тотчас оттолкнулся и медленно повалился вперед. Упав, он придавил дверь, за которой сидел конвоир, приведший его на «акцию». Когда конвоиру удалось выскочить в коридор, там никого, кроме перепуганных посетителей в дальнем его конце, не было.

Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обоих. В кабинете был еще один человек, кавказец, он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами, беспомысленном Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув: «А теперь меня спасайте!» — кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примеряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться.

Потом ее тронули за плечо — огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо, и, подавая руку, сказал хрипловато, с неподдельным участием:

— Пойдем, милая!

Часть вторая

Анатолий с работы вернулся рано и никого дома не застал. Он потом многожды невольно соединял эти мгновения: в те же самые секунды, когда он открывал дверь квартиры, недоумевая, куда все подевались, Тамара Ивановна открывала дверь в приемную прокурора. По времени совпадало: примерно половина пятого. Он мог бы не ходить на работу, как это сделала жена, позвонив еще накануне и предупредив, что ее не будет, да поверилось ему, что после возвращения дочери жизнь, пусть и в жестокой ране, да все-таки прилегла к их общему семейному телу. Долго еще будет болеть и саднить, и никогда нельзя будет неосторожным движением прикоснуться к месту этой раны, но надо же как-то и выздоравливать. А для этого для начала надо вернуться к прерванным занятиям, восстановить порядок жизни, и чем раньше, тем лучше.

Но никакой из него был не работник, и, потолкавшись неприкаянно среди таких же, как

он, не знающих, чем заняться, шоферов, он еще больше убедился, что надо уходить с автобазы. Делать там нечего, работы нет, договоров нет, половина машин разобрана на запчасти. Но очень уж некстати было уходить именно сейчас: по ране раной, по разрыву еще один разрыв. В таких случаях лучше держаться последовательных действий. Как при ходьбе: когда одна нога отрывается от земли, чтобы перенестись вперед, тяжесть тела в это мгновение опирается на вторую, установившуюся ногу. И так по очереди: одной-второй, одной-второй — можно уйти далеко при любой лихорадке и претерпеть многое. Отказала одна опора, обопрись на другую, но не обе же сразу прочь с копылков.

Он не знал еще, что как раз в эти минуты судьба нанесла по его семье, не дав опомниться от первого, второй удар, еще более непереносимый.

Было ли у него предчувствие новой беды, какая-нибудь стискивающая душу тоска или сбивчивые удары сердца, передающиеся от запаленного сердца жены? Может быть, и было. Сыновья постель опять оказалась неприбранной, в Светкиной комнате пахло нежилым, в кухне тоже стоял какой-то странный запах, точно побывало что-то чужое. К остаткам вчерашнего пиршества, затолканного в спешке как попало в холодильник, никто не прикасался. Анатолий взял рукой холодную сосиску, пожевал, обходя снова комнаты и вглядываясь в их выстуженность, потом позвонил матери. «Да, — ответила Евстолия Борисовна, — Светка здесь, у меня, Тамара Ивановна звонила и приказала Светке без ее зова сидеть безвылазно, кто бы ее ни потребовал». — «Давно звонила?» — «Давно, перед обедом». — «Как Светка? Не плачет?» — «Ой, Толя, да лучше бы она поплакала... Когда слеза есть, она все, любой камень, растопит». Не прощаясь, он положил трубку, машинально, не зная, куда себя деть, опять поднял и долго слушал напористые гудки.

В седьмом часу он не выдержал и поехал в прокуратуру. Суматоха там еще не улеглась. Следы случившегося были уже подтерты и прибраны, коридор освобожден от постороннего народа и громкие голоса затихли. Но никто не расходился, женщины из различного вспомогательного и письмоводительного звания, озираясь, переходили из кабинета в кабинет и продолжали обсуждение, гулко, с каким-то странным детонирующим эхом, гремели телефонные звонки, в распахнутое окно прокурорского кабинета набрасывало порывы ветра, а в приемной прокурора две мужские фигуры на четвереньках ползали по полу и по заметам мелка растягивали рулетку и делали замеры. Кто-то невидимый и важный вышагивал по коридору, всем казалось, что они слышат его шаги, и, когда женщины выходили из кабинета, они, не отпуская дверной ручки, прежде осматривались, где он может быть, а уж после возле самой стены скользили к следующей двери.

Все тут существовало во имя преступления, для того, чтобы распутать его или, напротив, запутать, снять с него мерки и назвать его точный размер, по которому и определяется мера наказания. Не будь преступления, не было бы и этого учреждения. Но все преступления, какими занималось оно, происходили где-то на стороне — во дворцах и ночлежках, на улицах и в парках, в магазинах и на рынках, в укромных местах и на открытых площадях многолюдного города. Это там катился, никогда не прекращая своего жадного вращения, огромный клубок человеческих страстей, оттуда они, вычлененные и отсортированные, названные по именам и отжатые от слизистой скверны, которая тоже переходила только в названия, перемещались сюда и укладывались в канцелярские папки под номерами. Конечно, и здесь, как всюду и везде, не обходилось без собственных правонарушений, но они были вторичными, происходящими от сомнительного или уж бесспорно неправильного использования служебного положения, носили умозрительный характер и делались без шума, шито-крыто. По большей же части здесь творится тяжелая и грязная по своим подробностям работа, истину приходится порой выуживать из таких мерзостей, что не всякий способен их вынести даже и в словесном переложении. Но выстрелы здесь не звучат и кровь здесь не проливается. Это все там, там — в подземельях и трущобах морали, в пристанищах корысти и грубой праздности. И когда это по редкостному недоразумению попадает сюда, раз в тридцать, пятьдесят или даже сто лет, когда по окончательному невежеству умывальник путают с унитазом и гремит здесь выстрел, по полу

прокурорского кабинета растекается кровь, совмещая воедино место преступления и место расследования, это производит на блюстителей закона столь сильное впечатление, что они приходят в растерянность гораздо большую, чем простой обыватель на улице.

В прокуратуре еще не опомнились, когда сюда в поисках жены пришел Анатолий. Как ни странно, никто его после столь громкого происшествия, которое не должно было в этих стенах случиться, но случилось, — никто его при входе не задержал, и по монументальной каменной лестнице он поднялся наверх, постоял в недоумении перед раскрытой дверью в приемную прокурора, за которой как раз происходили замеры, и только после этого постучал в дверь Цоколя. Никто ему не ответил. Чтобы убедиться, что она заперта, Анатолий с силой толкнул ее — все двери тут открывались вовнутрь — она распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Цоколь вскочил из-за стола, вскочили на ноги и возившиеся в приемной с рулеткой. Анатолий повинился за переполох в ту и другую стороны; Цоколь, не слыша, закричал на него:

— Вы что?!

— Я невзначай, — по-детски отвечал Анатолий, замирая, начиная уже кожей ощущать покалывание повисшей в воздухе тревоги.

Цоколь узнал его и опустил опять на стул. Но продолжал смотреть на Анатолия неотрывно, с растерянной строгостью, будто узнать-то узнал и определил уже место Анатолия в своей калейдоскопической жизни последних дней, но не мог отыскать хода, которым можно было бы извлечь этого человека из круговерти проходивших перед ним несчастных людей и поставить его уже на законном основании так, как он стоял перед ним. Одутловатое лицо Цоколя напряглось и покраснело, шишковатый кадык челноком ходил по шее вверх-вниз, толстые вывороченные губы, слепляясь и разлепляясь, примеряли какую-то подступающую мысль.

— Я зашел узнать, — сказал Анатолий, глядя на лежащий на столе неподвижной приплюснутой змейкой крапчатый галстук Цоколя, — зашел узнать: вы сегодня мою жену вызывали?

— Вы что! — закричал Цоколь отчетливым и страшным выдохом. — Не знаете, что ваша жена убила тут человека?! Не знаете?

Анатолий смотрел на Цоколя, Цоколь на Анатолия. В голове у Анатолия метались отчаянные вспышки сложений и вычитаний в поступках Тамары Ивановны с того самого часа, как вышли они вчера отсюда, и по их результату он понял: правда. Цоколь увидел это на его лице, перевел взгляд на то место на полу между ним и Анатолием, куда со стуком была брошена сумка и в дыру сумки на глазах его выползло дуло обреза, и не удержался, взглянул еще и на окно, теперь плотно закрытое, за которым в пыльную жестяную крышу впечатались кругляшки от кроссовок. Он вышел из-за стола прикрыть дверь, и из коридора его спросили:

— Позвонить?

— Позвони, — согласился Цоколь.

Где-то допрашивали в это время Тамару Ивановну, где-то срочно решалось, кому в прокуратуре более высокой инстанции поручить это громкое дело, в котором все на виду с самого начала, все карты вверх картинками, следствия и причины не придется искать далеко, и вся деликатная сложность которого заключается в том, чтобы, не пряча истины, не дать ей полной откровенности, а закону, как самонаводящейся ракете, указать координаты только видимой цели, не обнаруживая выявивших ее причин.

Анатолий сидел на подставленном ему стуле все в том же кабинете Цоколя и ждал. От огня, плеснутого в него страшной новостью, часть его сознания выгорела, и он лишь разрозненными мятущимися наплывами вспоминал изредка дочь и сына, но жена так же, как вчера перед прокурором, стояла перед ним во всей своей измученной и справедливой грозе, пытающейся получить ответы, и говорила, говорила, натягивая голос до полного беззвучия. Анатолий сжался и молчал. Ни себе, ни из себя сказать ему было нечего. Такая в нем была глушь, такая пепельная пустыня, что нечему было там, внутри, даже и задраться, чтобы

вызвать занозистую боль.

Уже совсем поздно, в глубоких сумерках, треплемых разгулявшимся ветром, попал он домой в сопровождении следователя, назвавшего себя Алексеем Васильевичем, фамилию Анатолий не расслышал. Немногословный, с выражением внимания и терпения на крупном лице, только-только начинающем колоситься морщинами, с прихваченными до мутной илистой белизны висками на короткой стрижке, следователь объяснил, пока шли от троллейбуса, что он всего лишь «сегодняшний» на этом деле, дежурный, должный кое-что посмотреть в квартире обвиняемой по горячим следам, а завтра за дело возьмутся люди из областной прокуратуры. Сказал это не извиняясь и не выставляясь, а просто чтобы сообщить, кто он такой есть и что дальше требующегося от него сегодня он не полезет. Но сегодня ему потребуются понятия, осмотр надо будет производить при них.

Открыл Иван, настороженно взглянул на чужого человека и решил уединиться в кухне. Но кухня-то как раз и потребовалась следователю для осмотра. Он встал в дверном проеме, быстро выхватывая глазами, где что стоит в кухне, убеждаясь, что стоит именно так, как ему было сказано, и поторопил застывшего за его спиной Анатолия:

— Кто тут у вас толковые соседи? Пойдемте-ка вместе, мобилизуем, пока не заснул народ. Теперь народ, сами знаете, засыпает рано.

— Почему засыпает рано? — спросил Анатолий.

— Делать нечего. Когда нечего делать — что остается? Спать.

В понятия мобилизовали боцмана Василия Афанасьевича с третьего этажа, красномордого живого старика, то ли тридцать, то ли сорок лет сплавлявшего грузы в Якутию, и соседку со второго этажа Веру Постнову, два года назад похоронившую мужа и оставшуюся с двумя малыми ребятишками. Боцман согласился с удовольствием и в две минуты был у Воротниковых, поддергивая на крутой живот атласные спортивные штаны и докладывая следователю, что он уже в третий раз за свою жизнь становится понятием и что все обязанности ему известны... Веру Постнову пришлось долго уговаривать, она всего боялась. Никаким боцманом Василий Афанасьевич не был, но был он при невеликом росте плотен, могуч, ходил враскачку, не вылезал из тельняшки, как истинный боцман, десятки навигаций сопровождал один и тот же бесценный на севере груз — спирт — и любил рассказывать о способах его незаметного изымания в пути из цистерн и бутылок. Вера Постнова, с испугу натянувшая на голову темный платок, когда привели ее и объяснили, что от нее требуется, и вовсе была близка к обмороку.

— Теперь давайте вместе смотреть, — призвал следователь понятих и обратился к Анатолию: — Есть у вас оружие?.. одностволка двадцатого калибра?

— Есть... была, — поправился Анатолий, уже составивший представление, что за работа шла в кухне ночью, когда он спал, и с чем, с какими «доводами» ушла утром жена в прокуратуру.

— А давайте смотреть: есть или была?

Где искать, ему было известно. Справа от окна за газовой плитой под наброшенной тряпкой оказалось белое пластмассовое ведерко, а в нем вставленные стоймя две пилки — по дереву и металлу, опиленный по шейке приклад и трубка от укороченного ствола — все то, что потребовалось, чтобы изготовить обрез. Опилки, те и другие, были аккуратно собраны в полиэтиленовый мешочек. Тут же, перед ведерком, веник и совок. Рядом, перед окном, крепкая старая табуретка с едва заметным надрезом сбоку. Все было учтено, все приготовлено для неоспоримого свидетельствования, чтобы ни своим, ни чужим не доставлять лишних хлопот.

Следователь неторопливо выуживал все эти явные доказательства намеренного преступления из ведра, называл их: это ножовка по дереву, это по металлу, это опиленное ложе... сложил в ряд на столе, дал полюбоваться и спросил у Анатолия:

— Не знал?

Не размыкая губ, Анатолий дернул головой: не знал. С тяжелым любопытством следователь задержал на нем взгляд: видно, что не знал; но как же так, браток, — не знал!..

— Все, значит, подготовила честь по чести, пошла и стрелила! — зычно и торжественно подвел итог боцман, с восторгом озирая на столе вещественные доказательства. — Ну, молодец баба!

— Стрелила и что... убила? — с трудом подала голос Вера Постнова.

— Наповал! — подтвердил боцман. — Такая не промахнется!

— Но этого быть не может... Она всегда была такая справедливая...

— Ты, Вера, добрая баба, но как человек ты непрофессионалка, — внушительно сказал Василий Афанасьевич. — Ты знать должна: чего быть не может, то и бывает.

Когда ушли, Анатолий крадущимся шагом, ставя ноги так, будто он слепо поднимается по лестнице и нащупывает ступени, направился к сыну, торопливо вышедшему навстречу ему из Светкиной комнаты, сделал движение, чтобы обнять его, и не обнял, каким-то фальшивым голосом, тужась, с невесть откуда взявшейся хрипотцой, сказал:

— Ты понял, сын, что случилось?

Иван кивнул.

— Мама наша... — Анатолий не договорил и, махнув в отчаянии рукой, пошел в свое укрытие всех последних дней — в темную спальню. Там он долго стоял перед окном и, уставив глаза в улицу и ничего не видя, кроме сильно раскачиваемых ветром тополей и сползающих вниз обломанных тяжелых веток, пытался что-то добыть, выскрести из своего нутра. Не много же он добыл, когда вышел опять к сыну, сидевшему на диване и ждавшему его... Только и сказал:

— Она хоть спать сегодня будет... она все сделала. А мы? А мы-то как? Что нам-то делать?

Что делать? — надо было как-то жить, протискиваться сквозь теснины, видимые и невидимые, обдирающие до мяса и крови сердце, проходить через казнь бессонных ночей, днями в тягучем кисельном воздухе хватать дыхание, куда-то и зачем-то торопясь среди толпы со стертymi лицами, нырять в ворота и двери, никуда не ведущие, проталкивающие мимо себя с автоматической бесстрастностью и везде торопящие до спотыка и грязного тумана в глазах. Надо было как-то жить, не веря ни воспоминаниям, ни утешительным взглядам вперед, а только околичивая день за днем безвольными движениями. Демин заставил Анатолия взять на автобазе отпуск без содержания, он зачем-то поехал и взял, хотя с тем же результатом мог бы не мять ноги: никакого содержания там давно не водилось. Он же, Демин, посадил Анатолия в свою машину и повез на оптовый рынок, один из тех, которые вползли теперь в цеха почти всех крупных заводов, и на свои деньги, не скупясь, набрал кормежки. Часть отвезли Евстолии Борисовне со Светкой, часть оставили осиротевшим мужикам. Анатолий не спорил, но и не мог понять, зачем нужна эта заготовительная экспедиция: если он изредка и брал какой кусок в рот, то не помнил. Светка так и оставалась у Евстолии Борисовны, Иван то бросался читать умные книги, то норовил сбежать из дома. К Тамаре Ивановне не пускали, но она передала на половине тетрадного листочка записку, доставленную к ним домой сильно припадающим на правую ногу долговязым парнем. В записке было: «Ко мне тут относятся хорошо, не беспокойтесь. Не выпускайте Светку из дому». И все, больше ни слова. Анатолий показал эту записку Светке, она, некрасиво дергая ртом, ткнулась испуганно в материнские слова и торопливо вернула листочек. Он смотрел на Светку, сидящую перед ним с поднятыми коленками в расшатанном и продавленном кресле: посиневшая, в неделю опавшая до худобы, с мучительным взглядом сузившихся, не желающих ни на что смотреть, глаз. Евстолия Борисовна при ней же, как малая на большую, жаловалась: не дает ей Светка смотреть телевизор.

— Оно, Толя, и вправду там буйный дом, одна стрельба да неприятности, — басила она, — но я уж привыкла. От меня все это как от стенки горох, а попереживать люблю. Нас, стариков, из жизни ведь теперь совсем исключили — чем нам заняться? Спасибо твоему

Демину, продукты прислал... а то мне в магазин сходить — как на Тутурскую гору влезти.

Анатолий сквозь туман в голове вспоминал: Тутурская гора — это что-то старинное и невсподъемное, до чего никогда не добраться.

— Потерпи, мать, — только и мог он сказать ей, прося пощады и оглядывая, как всегда, на прощанье маленькую однокомнатную квартирешку, выстаревшую до морщин на стенах, и поднимался. Не сиделось и тут. Нигде не сиделось. Только в маете на ногах и мог он еще как-то забываться.

Часто, очень часто стиснутым, на одно направленным воображением он пытался представить, что сейчас, в эту и эту минуту, там, в огромной, как овечий загон, камере может делать жена, и морщился от боли. Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно, и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр, слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышимым перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно оборотилось противоположной стороной. Стал замечать Анатолий, что, если и смеются вокруг, то натужно или грубо, без трелей серебристого чувственного выплеска, который прежде и в посторонних людях умел заразительно затронуть потаенные колокольцы, а уж если страдают, то бездонно и горько. Лица унылые, скорбные или уж нахальные, ко всему готовые, но те и другие как две стороны одной искаженной действительности.

Он и прежде не мог не замечать, в какой спешке люди ограждаются оконными железными решетками и бронированными дверями, а богатые еще и протягивают над бетонными заборами в два человеческих роста колючую проволоку, по углам возносят сторожевые башенки с вооруженной охраной. Но прежде это было приметой беспокойного и незаконного времени, теперь вдруг выставилось в печать мученичества. В самом деле — как много, до ужаса много этой зарешеченной жизни! Как много страха, безумия, безнадежности! Невинные люди сами себя заточают в клетку, преступники разгуливают на свободе. И уж совсем по-другому, чем раньше, начинал думать Анатолий о тех несчастных, кто в тесных камерах с удушливым смрадным воздухом и горькими выкриками, не жалеющими друг друга, живут рядом с женой. Господи, взними в них остатки добрых сердец, дай им силы претерпеть все, что насылает судьба! Дай им ума понимать и не обижать друг друга!

Два дня после того, как забрали Тамару Ивановну, ни его, Анатолия, ни детей не трогали. Потом стали вызывать в областную прокуратуру и добиваться: бывали ли у Тамары Ивановны вспышки невменяемости, какой характер носили и доходили ли до крайностей вспышки гнева? Почему-то там хотелось показаний, что да, бывали и доходили, к этому сына и дочь и подталкивали, но сказать им было нечего. Могла вспылить, могла крикнуть, по-девчоночьи иногда выставляла фигу, чтобы показать, что не выйдет по-ихнему, с размаху топала о пол на Ивана ногой и, отбив ногу в легкой войлочной обуви, с оханьем подпрыгивала к дивану или стулу и стучала о колено кулаком, вразумляя теперь уже не сына, а себя... Кто сейчас сохранил спокойствие и безмятежную душу, кто способен не кричать от боли в себе или из себя и не надирать сердце? Вызвали и Ивана Савельевича, отца Тамары Ивановны, и тоже: страдал ли кто в их роду психическими заболеваниями или другими помешательствами? Иван Савельевич заехал после этого к Анатолию и, швыряя чистый, без молока и сахара, чай только что с огня, потя и краснея, обирая ладонью с морщинистого бугристого лица и растрепанных усов влагу, рассеянно размышлял: пойми теперь, где помешательство и где не помешательство? Такое вокруг помешательство, такая

свистопляска! — никаких концов не сыскать.

— Вот у меня было два ружья, с Ангары привезенные... — со стоном от чая и горя говорил он. — Два ружья было — шестнадцатого калибра и двадцатого калибра. Одно вам сюда от греха подальше переправил, другое у себя спрятал. Так его Николай, от кого спрятал, все ж таки разыскал и пальнул в себя. Другое висело-висело... сколь годов висело... теперь Томка из него пальнула. Два ствола было — и обои не по цели стрелили. Это помешательство или что? Э-эх! — безнадежно и гулко крякнул он и отдышался. — Спрашивает меня... этот, допросчик-то седнишний, говорит: «Как узнал, как отнесся?» — «Узнал, — говорю, — в тую же ночь, зять приехал, сообщил. А отнесся, — говорю, — как родной отец, а не как чужой человек».

Анатолий рассказал:

— Охранник, который привел этого парня к прокурору, он за дверью находился. Он в этот момент поднялся, ключ в кармане искал, чтобы наручники разомкнуть. Парня выпустили бы, это теперь они вид делают, будто собирались его обратно в камеру воротить. Охранник один бы ушел. Но ишь ведь как получилось-то: охранник-то не ушел пустым. Ему же и пришлось обратным ходом сопровождать Тамару.

Иван Савельевич поразился:

— Чтобы не было, значит, пустого прогона?

— Так вышло.

— Во как все в дело идет! Будто у хорошего хозяина. Кто же это так хорошо хозяйничает, Толя? Кому мы не угодили? Э-эх! — привычным вздохом подытожил он и зашевелился подниматься, ему тоже не сиделось, в движении было легче.

Анатолий удержал его:

— Погоди, отец. — Редко-редко, раза три или четыре за выпивкой, в минуты чувствительной растроганности, когда весь мир хотелось взять в родню, называл он отцом Ивана Савельевича. И вот теперь, когда хоть на обочину многолюдной улицы выскакивай и зови на помощь, придвинулся, жалея себя и старика, ближе. — Я спросить хочу: ты Светку недели на две не возьмешь к себе?

Иван Савельевич насторожился:

— Эти пугают?

— Нет. — Анатолию не хотелось договаривать. — Это я на всякий случай. Береженого Бог бережет. Грядки тебе будет полоть.

Вглядываясь в Анатолия сильно провалившимися глазами, Иван Савельевич не поверил. Подергал свои неопрятные, как неродные, усы, размышляя, надо ли выпытывать, и не стал. Сказал:

— Привози хоть седни, хоть завтра. Но с умом привози. Эх, зятюшка, зятюшка, — вздохнул опять, стараясь и в тоне обойтись без упрека.

«Эти пугали» странно. Они меняли машины, подъезжали то на белой «Волге», то на блестящей небесным лазурным сиянием новенькой японской «Тойоте», то на «семерке» со свежееободраным боком, и старались показать себя: двое молодых, лет тридцати, похожие друг на друга, как братья, с небритыми лицами в короткой, словно после стрижки, черной щетине, невысокие, быстрые, с наглыми глазами, и третий постарше, за сорок, с подобранным крепким телом, — они ставили машину то перед прокуратурой, когда Анатолий провожал туда сына или дочь, то перед домашними окнами в детском скверике, куда въезжать, конечно, не позволялось и где никто ни разу не сказал им ни слова. Они ставили машину, опускали стекла и выглядывали или прогуливались рядом. В скверике же Анатолий подошел к ним и, не владея собой, прокричал:

— Вы добиваетесь, чтобы теперь я пристрелил кого-нибудь из вас? Вы этого добиваетесь? Я пристрелю!

— Дорогой! — вскричали весело молодые, высовываясь из окон «Тойоты» и перебивая в восторге друг друга. — Ты так знакомиться пришел? Давай знакомиться! Ты так друзей встречаешь?

Тот, что постарше, сидел за рулем, смотрел на Анатолия холодными, спокойными и жестокими глазами. Они отрезвили Анатолия: этих не испугаешь, и в той игре, которую они затеяли, нужно быть осторожным или уж действительно стрелять.

Он стал подумывать, где взять оружие.

С трудом заставил себя пойти в милицию и рассказать о кавказцах, о их «художественном» запугивании, стал сбивчиво объяснять, что боится не за себя, а за детей. В милиции отмахнулись: не угрожают? Вот когда станут угрожать — приходите. И Анатолий вспомнил об Алексее Васильевиче, том самом следователе, которого приводил домой за «вещественными доказательствами» и к которому у него оставалось доверие. Кое-как пробился к нему, но пришел в неподходящую минуту: в комнате было шумно и дымно, толпились взволнованные люди — случилось что-то нерядовое — и Алексей Васильевич, слушая Анатолия вполуха и обратив к нему прищуренный левый глаз, правым косил в сторону разгорающегося спора. Только и спросил:

— По телефону звонят?

— Дважды звонили еще при Тамаре Ивановне. Предлагали деньги, если мы заберем заявление. Теперь звонят, чтобы только голос услышать, сами не говорят...

— Хорошо, — торопливо, чуть не выпроваживая, Алексей Васильевич попросился. А вечером позвонил и глухим, не потерявшим доброжелательности голосом сообщил, что разговаривал с кем-то... с кем, Анатолий не понял, и с завтрашнего дня за ними будут присматривать...

Присматривали или нет, Анатолий не мог сказать наверняка. Или делали это так ловко и профессионально, что он не замечал, или всего-то успокоили его, чтобы он меньше боялся. Но кавказцы исчезли. Едва ли они исчезли куда-то дальше глаз его, да и то продох. Светку они с Деминым поздней ночью отвезли к Ивану Савельевичу, сын, остававшийся без дела, уверял отца, торопливо кивая на тумбочку с толстыми книгами, что теперь он безвылазно будет сидеть дома за словарем Даля. Любым обманом, любой хитростью готов был обмануться Анатолий, лишь бы утишить внутри поддувало, раскаляющее боль.

Демин жил в одиночестве, бобылем, и так же в одиночестве жила его «боевая подруга», как он называл ее, известная в своем кругу по отчеству — Егорьевна. Демин любил перекраивать — Обьегорьевна. Ни он, ни она съезжаться не хотели, но обойтись друг без друга не могли. У Демина была большая комната в «коммуналке по-новому», когда дети после смерти родителей не сумели договориться, как разделить большую родительскую квартиру и жили в ней двумя семьями: сестра с мужем и двумя девочками занимали три комнаты в глубине общего коридора, у Демина была комната возле входной двери. Он поставил в ней электроплиту и умывальник, отгородил бамбуковой вьетнамской шторой под кухню уголок по левую руку и поставил отдельный телефон. Ночевал он нередко у Егорьевны, но отдыхать приходил сюда. Отдыхать он мог только в одиночестве, оттого и не заводил семью. Его Егорьевна, сдобная, белотелая, крутозадая женщина в возрасте «бабы ягодки опять», была замужем дважды и не скрывала, что это она виновата в разводах как в первый, так и во второй раз, и не без гордости восклицала в игривые минуты: «Я баба угарная». Уже в новые времена, курсируя с огромными баулами то в поезде, то в самолете в Китай, Корею, а раза два и в Турцию, она купила квартиру сначала сыну, потом дочери и барствовала в двухкомнатной квартире старого широкого покроя одна. Где-то там, в кругу таких же расторопных и ловких, она поднялась в своем положении и больше уже баулы не ворочала, отдаваясь делу, которое несведущим, далеким от этой деятельности, людям разяснить невозможно. Если бы не Егорьевна, деминский киоск с железяками и мазями давно пошел бы ко дну. Но, будучи оборотистой, была она еще и осторожна и, не умея разглядеть, чем могут закончиться новые порядки, старалась держаться в тени.

Демин зазвал в гости к ней Анатолия в выходной, среди бела дня. Теперь, когда

оказался Анатолий без дела и без работы, в одном непролазном мытарстве, невзлюбил он выходные. Нужны они людям рабочим, а находящимся в бессрочной увольнительной они в упрек. А у него все пошло мимо дела. На даче, требовавшей рук да рук, пришлось бы отвечать на вопросы соседей, выслушивать подбадривания — и не ехал. На место несуществующей работы идти было незачем — и не шел. К Тамаре Ивановне не пускали — и не настаивал, боясь встречи с нею, снова и снова спотыкаясь о взгляд, каким она его встретит со своего высоко поднятого лобного места. За что бы он ни взялся — все было не то, куда бы ни пошел — не туда. Ему легче было, когда звонили и требовательно вызывали или в прокуратуру, или к матери, или к университетскому профессору, занятому судебно-психологической экспертизой подсудимой. Так же требовательно позвал с собой Демин — и Анатолий с тем же безразличием и угнетенностью подчинился.

Сидели за круглым столом посреди комнаты, обставленной под гостиную. Над головами свисала хрустальная люстра и от гудящего голоса Демина тонко и пугливо принимались названивать вытянутые под дождевые капли подвески. За спиной у Анатолия стоял диван, низкий, тяжелый, с выгорбленной спинкой и тоже горбатистым, еще не продавленным сидением, и одного с ним семейства два низких и широких кресла с массивными подлокотниками. Большое, сплошного стекла, окно смотрело в разрыв между двумя пятиэтажками далеко и вверх деревянных кварталов на окраине города доставало до небольшой березовой рощицы, тускло светящейся в мареве жаркого дня.

Демин, как всегда и везде, не находя себе места, не мог долго высидеть и за столом, поднимался то курить, то размять спину, вышагивал стреноженным в тесноте шагом и пытался размахивать руками.

— Далеко вам еще идти, товарищ прохожий, — невинно и серьезно, будто в первый раз, спрашивала Егорьевна с другой стороны стола, водя головой за его маятниковыми движениями. «Угу, подхожу», — так же серьезно отвечал он и действительно опускался на стул. А через десять минут снова вскакивал.

— Он, Толя, дубовую кровать мне расшатал, это ладно, — по-свойски, на всякий случай напуская на себя застенчивость, жаловалась Егорьевна. — Но он ведь мне и квартиру, как ведмедь, расшатал...

— Шатун, — с напускной мрачностью соглашался Демин. И обращался к Анатолию: — Ты знаешь, почему она говорит «ведмедь», а не «медведь»? Она у нас натура романтическая. Проста — дальше некуда, но кому сейчас нужна простота, всем охота быть с вывертом, с фокусом... Завораживать охота, колдовство, чары напускать. Ведьмой быть. Они почему-то считают, — Демин намекал на круг новых людей, из которых теперь происходила и Егорьевна, — они считают, что ведьма — это что-то волшебное, хорошее. Не баба-яга, а Василиса Прекрасная. Понимаешь, Толя? У нас как было: у-у, ведьма! — в лоб говорили бабе, что она нечистая сила. А у них: «Ой, как она умно все обделала, как красиво! Настоящая ведьма!» У них и медведь — не тот, кто сначала человека задерет, а потом медком побалуется, у них это милый шалопай рядом с ведьмой — ведмедь.

— Фу! — фыркнула Егорьевна, и губы ее еще больше округлились. — Ты сам же говорил мне, что ведмедь — это ведун.

— По меду! — коротко и зычно хохотнул Демин.

Круглое лицо с блестящими, искристо просверкивающими глазами, с маленькими ушками и с аккуратным, лукаво вздернутым носом, маленьким, чуть выпяченным, розанчивым ртом, придававшим иногда совсем детское выражение, лоснилось у Егорьевны и от печного жара, и от плотской сытости, и от удовольствия принимать гостя. Грудастая, с полными руками и с ямочкой на чувствительной шее, сразу за которой начиналось изобильное плато, рослая, раздобревшая, но не раздавленная, словно бы только размягчившаяся от доброго нрава, она оставалась в той спелости, которая еще брызжет соком. Изредка она взглядывала на Демина по-деловому, словно спрашивая, так ли все идет, как надо, и Анатолий уже не сомневался, что со стороны Демина тут не обошлось без инструкций.

Ели, пили, говорили о чем придется — и вдруг стыдно стало Анатолию: что же он тут делает, в укрытие, что ли, ушел? Какое ему может быть укрытие, какой праздник, какой выходной? Из этой же комнаты, перебравшись в кресло возле журнального столика, на котором горбился матово-сиреневым жуком телефонный аппарат, он позвонил домой. Иван был дома, ответил. Ответил обиженным, натянутым голосом, недовольный тем, что отец не пустил его сегодня на дачу. На даче работы невпроворот, но ведь не грядки же полоть рвался туда парень! А зачем рвался, Иван и сам, скорей всего, не знал. И мог нарваться. Пусть посидит дома. Спросил у сына, не звонил ли Иван Савельевич? Это хорошо, что нет. А в дверь не звонили? Тоже хорошо. А ты выходил? И понял по сопению, из которого никак не мог выбраться внятный ответ, что, несмотря на запрет, выходил. Не стал выговаривать, а со вздохом положил трубку. Парня не удержать, он и при нем мог, хоть кричи закричись, подняться и выйти. Позавчера не мог, вчера не мог, а сегодня отец, т а к о й отец, ему не указ.

Через полчаса он опьянел совсем ни с чего, с двух рюмок водки. Рюмки, верно, были вместительные, пузатенькие, с какими нужна осторожность, но для мужика это все равно только легкая разминка. Значит вконец вышел мужик, ничего не осталось. И когда Егорьевна потребовала от Анатолия здравицу, вспомнив, что тост — это чужое слово, пускай под него чужаки и пьют, он забормотал:

— Да какая от меня здравица? От меня одно расстройство. Конечно, я желаю вам... я вам много чего желаю... да толку-то от моих пожеланий! — И, обращаясь к Демину, заговорил отчаянней и тверже. — А ведь это я, Демин, должен был сделать... что она сделала... что Тамара моя сделала. Это мужик должен был сделать, отец. А мужика не оказалось, он спать ушел... устал сильно. Он и помнить забыл, что у него ружье двадцатого калибра за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью уж который год, как часы, тикают. Я слышать должен был, как они тикают. Ну, какой это мужик, — с еще большим нажимом повторил он, — если жена среди ночи ствол обрезала, а он сил набирался, чтобы назавтра наблюдать, как этого поганца... он в семью нашу ворвался и всю ее испоганил... как этого поганца станут отпускать на все четыре стороны. Мужик сил набирался... А ведь вроде не трус. Ну, это мы еще разберемся, трус или не трус? — пригрозил Анатолий, морща от презрения к себе лицо. — Чудно: как-то так струсил, что и не догадался, что струсил.

— Вот так здравица! — растерянно ахнула Егорьевна. — Это никакая не здравица, это я не знаю что... Вы, Анатолий, все не так понимаете. Честное слово. Демущка, скажи ты ему...

Демин мрачно, наклонив рюмку с водкой и вздувая в ней волну, не глядя на Анатолия, спросил:

— Все сказал? Или про запас еще маленько оставил? А теперь слушай, как мы это понимаем. Для начала спросить хочу: зачем ты это говорил?

— Как зачем?

— Ну, зачем? Утешения захотел? Хотел, чтобы мы тебя успокоили: мол, все это не так и ты, дорогой друг, поклеп на себя возвел... Да тебя сейчас нельзя успокоить, ты сам это должен понимать. Тебя потом, позже, жизнь сама успокоит, да и то — как успокоит? Не успокоит, а закалит, будет долго еще бить тебя и мять, мять и бить, раз уж ты под руку ей попался. Она любит нас, дураков, учить.

— Для того и говорю: из ружья не выстрелил, так теперь хоть дерьмом выстрелю.

— Слушай и запоминай. — Демин поднялся, встал напротив Анатолия рядом с Егорьевной и, простирая над столом руки, заставляя Анатолия отшатываться, бросал рублеными, чеканными фразами. — У меня будет во-первых, во-вторых и в-третьих. Освободи там у себя место, чтобы все вошло правильно одно за другим. Во-первых... Во-первых, и в главных: тебе не дали бы стрелить. Не дали бы! Твоя Тамара Ивановна сколько там... часов семь невидимкой терлась возле стен, пока не привели этого вашего турку. Ты бы так не сумел, тебя бы десять раз разоблачили: чего это он тут скрадывает, что это у него там в сумке? Сграбастали бы, как миленького, и цель твою тебе не показали. Что

может баба, мужику ни в жисть не смочь. Стрелять — да, это дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелить... для этого ты бы не годился. Ни ты, ни я не годились бы... Спроси вон у Егорьевны, почему мужики, которые поначалу тоже кинулись в «челноки», не сдюжили? Силенки маловато? Да нет, силенка еще имеется. Но силенка там — не все, там, может, главнее — исхитриться, разжалобить, дипломатию развести, всяких надувал надуть. У мужика не получается. Спроси, спроси Егорьевну, она скажет: не получается. Не та натура, не те извилины в голове. Это во-первых... — Демин щелкнул перед носом Егорьевны пальцами, и она тотчас поняла и налила ему в рюмку. Не приглашая никого присоединиться к себе, он выпил, хрюкнул удовлетворенно и продолжал: — А теперь слушай второе. Слушай! Даже если бы эти остолопы из прокуратуры дали тебе выстрелить и ты бы убил — закатали бы тебя без всякой пощады... ты бы убийца был и больше никто. А мать она и есть мать. Где мать имеет право не выдержать, отец терпи и не рыпайся. Ты бы убил, и через полгода забыли бы, что за дочь убил, честь родной дочери спасал, а помнили бы только, что убил... ни за что убил.

— Тамару Ивановну очень жалеют, — подтвердила Егорьевна, показывая жалость на лице, сморщив его и собрав на лбу аккуратные скорбные морщинки. — Очень. Весь город об этом говорит. Она у вас героиня. Я бы так не смогла, я бы струсил. А она героиня. Раньше рожать надо было, рожать и рожать каждый год, чтоб стать мать-героиней... А теперь вот: защитить их, роженных, надо. У нас говорят... я Демущке уже сказала... у нас говорят: соберем деньги на адвоката. Сколько надо, столько и соберем. Велят передать: это пускай будет за нами. Самого лучшего надо взять. Не отказывайтесь.

— Не откажемся, — заверил Демин, принявшийся опять расхаживать вокруг стола, вытягивая над ним и без того гнутую фигуру, чтобы зацепить вилкой закуску. — Это вы правильно: бедным и несчастным помогать надо. Бедным и несчастным вообще всегда надо помогать, а тут дело особое. Тут дело такое: не поможете вы сегодня — завтра и до вас доберутся, и из вас сварганят бутерброд на закуску. Это же не случайно, это же нашествие — все эти черные, желтые, пегие... они ведут себя как завоеватели, мы для них быдло. Да! Но я не досказал! — вострубил он сердито, обращаясь к Анатолию. — Я не до конца вправил тебе мозги. У меня еще есть в-третьих. В-третьих и в главных. Слушай. Это тоже всех нас касается. Но сначала давай ухнем. Разговор у нас серьезный. Разбередил ты мою душу.

Выпили; Егорьевна быстрее и ловчее мужиков, поглядывая после этого на них со снисходительным терпением, пока они охали, кряхтели и сопели, прежде чем наладить дыхание. Демин продолжал:

— Вот ты говоришь, что струсил и сам не заметил, что струсил. Себя, значит, заклеил и душу свою на лоскуты рвешь. И собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места не останется. Да ведь мы все, разобраться если, струсили. Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти... коршуны... коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было... Но хищные, жадные, наглые, крикливые... И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так... А мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас, как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?

— Где остальные? — как эхо, отозвалась Егорьевна.

— Вот и я спрашиваю. Где-то должны быть и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили. Какую-то детальку... она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет

натяг. Хлябает, трется. Да. Я раньше как размышлял... — Демин вздохнул глубоко, поводит глазами по столу, но удержался, не стал наливать. — Я раньше немножко по-другому смотрел на причину... я думал, мы по той причине не уважаем себя, что нас... ну, как бы обчужили, втерли в нашу шкуру всякие там вещества, чтобы она на чужое отзывалась с полным нашим удовольствием, а на свое не отзывалась, к своему, значит, была нечувствительна. На чужое клевала, а от своего нос воротила.

Не вытерпел, встрял и Анатолий:

— А что — не обчужили, что ли? Еще как обчужили!

— Было. Ясное дело — было. И никуда не сплыло. Сегодня в 155 раз больше втирают, чем было. Раньше в кожу втирали, а теперь в душу. Способы такие появились — в душу втирать. Но мы-то... тут я спотыкаюсь... да нешто мы настолько никуда не годимся, что не понимаем? Не может такого быть! Мы понимаем... и раньше понимали, когда в кожу втирали... Конечно, молодежь падкая, на нее процентов десять–пятнадцать отдавать надо. Но не больше, не вся она падкая. Мы все ж таки в себе остались. В нас кровь по-другому ходит, ни турками, ни американцами мы сделаться не можем. Ни по каким причинам. — Демин опять гулко вздохнул и поморщился. — В себе-то мы остались, а штуковину потеряли. Где, когда потеряли — никто не скажет. А без нее... то ли трусость, то ли безразличие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава.

— Найти надо эту штуковину! — чересчур бодро, выдавая этой бодростью свою усталость от умничанья Демина, воскликнула Егорьевна. — Найти и вставить на место. Чтобы натяг был. Правда, Демущка?

— Найти и вставить, только и всего, — с усмешкой согласился Демин. — Натяг нужен, без натяга нельзя. Водку пей, но песни свои пой. Сначала свое, а уж там... у нас натура широкая, в нее много чего войдет.

Боясь, чтобы он не сбился опять на путанные рассуждения, Егорьевна торопливо, точно за хвост поймав упоминание о песне и с маху окунув голос в жалостливость и игривость, затянула:

Голова ль моя, головушка!
До чего ты довела —
Говорили раньше: вдо-овушка,
Говорят теперь: вдова-а.

— Нету такой песни, — решительно отзывается Демин и косится на ее раскрасневшуюся огнедышащую грудь. — Где ты ее взяла? Сама, что ли, сочиняешь?

— А я ни одной песни не знаю, — с удовольствием признается Егорьевна и смеется. — Правда, до конца ни одной не знаю. Поют, а я подмыкиваю, как корова. Я в молодости дура дурой была, песню принимала за забаву, я только недавно и поняла, какая в ней радость.

— Сначала родила, потом забеременела.

— Фу ты! Такое даже и представить нельзя, о чем ты говоришь.

— А ты все-таки пыталась представить?

— Ну, конечно, пыталась, раз тебе нравится, — соглашалась она, поднимаясь собрать грязную посуду.

То она кажется недалекой, простушей из простуш, круглые глаза выставляются пленчатым блеском целомудренной наивности и грубых желаний; грудь вздымается — потому что мехам ее приходит время воздушной прокачки, а не от порывов глубокого волнения; темно-коричневое лицо, подвяленное от продолжительного бывания на свежем воздухе, ровно заполнено по всем заводям от внутреннего штиля и житейские бури туда пробиваются разве что в исключительных случаях; то вдруг в одну минуту все в ней меняет выражение и глаза смотрят внимательно и умно, лицо оживает и отзывается на происходящее чувственными переливами, губы сами собой округляются и растягиваются, тугие щеки волнуются от дыхания...

— Мы вас совсем бросили, — говорит она Анатолию, возвращаясь к столу и окликая Демина, вышедшего курить на балкон. — Совсем, совсем вас бросили. Демушка, шатун, как нехорошо! При даме пускаешь дым ей прямо в лицо, а чуть дама отошла — вспоминаешь о приличиях. Теперь что — так принято?

— Да, — соглашается он, прикрывая балконную дверь, — принято. В связи с происшедшими в даме изменениями.

— Какими изменениями?

— Такими, что мы скоро пощады запросим: не курить при нас. Зачадили весь белый свет.

— Странно. Кто из нас курит — ты или я?

— Это ни о чем не говорит.

— Да как же не говорит?!

— А так, что мы с тобой, как два сапога пара, не в счет. Ты сапог с левой ноги, задержалась в развитии в одну сторону, а я сапог с правой ноги, я задержался в развитии в другую сторону.

— Я сапог с левой ноги... Спасибо. Я, значит, задержалась в развитии в левую сторону. И в каком, интересно, виде я теперь нахожусь?

Демин загоготал и, вытянув над столом руки, ухватил Егорьевну за плечи и усадил ее.

— Конечно же, — пошел он на попятную, — ты избежала дурного развития и сохранилась в образе самой непорочной женщины.

— Спасибо.

Быстро же она умела меняться! Только что стояла в напряжении, тянула слова, выговаривая их четко и требовательно, вот-вот, казалось, готова была опасно забренчать чайными чашками, и вдруг отставляет чашки, засмеявшись и затомившись, превращается опять в простушку, прижимает руки к груди и, выкачиваясь на стуле перед Деминым, запекает сочно и фальшиво:

Совушка-вдовушка,
Где же ты летала?
Или над могилкою
Сладко ты рыдала?

— Нету такой песни! — возмущается опять Демин. — Где ты их берешь?

— Ну, конечно, нету, — радостно соглашается она. — А может, и есть, я точно не знаю. Я же говорю... я только те песни и знаю, которых нету. Но похожее что-то ведь есть, правда? Скажите вы, Анатолий... он не песенный человек, хоть и бурлак... он не знает. — Анатолий тоже не знает, есть ли похожая песня и пожимает плечами. — Я ее в хорошие минуты частенько напеваю. Так хочется иногда быть вдовушкой.

— Мужиков пожалей, — бурчит Демин. — Пусть живут.

— Ну, конечно, пусть живут. Я им желаю долгой-предолгой жизни, я их люблю. Но вот найдет: хорошо бы стать вдовушкой. Что-то сладкое в этом есть. Это ведь судьба русской бабы — быть вдовой... оттого нас, наверно, туда и тянет. Вдова по улице идет... не идет, а вышагивает, она не суетится, не хватается за судьбу, она полного своего положения уж достигла.

— Не приведи Господь!

— Не приведи Господь, а вот тянет, как дурочку!

Демин громко чихает, хмыкает на радостный возглас Егорьевны, закричавшей «правда, правда, вот видишь, правда!», вытягивает из кармана огромный платок и гулко сморкается вслед этой радости. Говорит, теребя нос:

— Снять бы сейчас ремень, заголить одно место да выпороть тебя прямо при Анатолии.

— При Анатолии не надо, — канючит она по-девчоночьи, морща лицо и с деланным испугом отъезжая на стуле от стола. — Не надо при Анатолии, Демушка! Не будешь?

— Отстань!

— Но не будешь при Анатолии? Мне стыдно будет.

Потом пьют горячий зеленый чай, вкус к которому хозяйка вывезла из Китая и никакого другого уже не признает. Демин тоже привык и не морщится, а Анатолий подслащивает каждый глоток порцией пирожного. Стол от сладостей ломится, уже без всякого порядка навалены на него и торт, и пирожные, и конфеты в круглой жестяной банке, и мармелад, и орешки в меду... И до всего этого хозяйка оказалась охотница. Она уже говорит неторопливо, лениво, бархатным голосом, вкладывая и в слова удовольствие от еды. Рассказывает, как прошлым летом в последний раз ездила за товаром в Корею и как, спроворив закупки, забежали они, три иркутские бабехи, в Сеуле в японский ресторанчик. Там на русский говор подсел к ним пожилой господин, очень пожилой, высокий, поджарый, с умным бескровным лицом, но очень подвижный, легко вскакивавший и легко говоривший, оказавшийся русским эмигрантом из Токио.

— Мы ели мороженое, а оно плохое, водянистое, во рту на колючие сосульки разваливается. Ну и говорим ему, что у нас мороженое лучше. «Да, — говорит, — мороженое лучше, а конфеты хуже». — «Нет, — мы хоть бабехи-распустехи, а патриотки. — Нет, конфеты тоже лучше». Он вскочил и отошел, и, пока мы сидели, привозят огромную картонную коробку, а в ней разных сортов конфеты, сортов десять или пятнадцать. Он что... он оказался конфетным фабрикантом. Распечатывает нам, кажется, три коробки: ну-ка попробуйте. На вид конфеты не очень, беловатые такие, как наша помадка... «Ну что?» — спрашивает. Мы жуем, а понять не можем. «Какие-то не такие». — «Но какие не такие? Вкусные?» — «Вкусные». — «Ваши конфеты, — говорит, — хороши, но одно в них плохо, много в них валят сахара. В два раза надо меньше сахара — и они будут и полезней, и вкусней». Вручил нам эту коробку, довез до отеля, приглашал в Токио. Я его часто вспоминаю. Он все дивовался на нас. А мы и правда, как на подбор, одинаковые: бокастые, горластые, мужикастые. Те же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые, с дороги не столкнешь. Прощаемся, он говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили, теперь я знаю, что есть в России сила».

— Наездили вы, насмотрелись, — с благодарностью говорит Анатолий, уже совсем отрезвевший, изнывающий от желания подняться и распрощаться, повторяющий про себя раз за разом: «Везде хорошо, где меня нету». И сам же неосторожно, от неловкости за свое молчание, дает новый ход разговору, припомнив:

— Я утром радио слушал. В Англии, — сказали, — двадцать процентов женщин не желают выходить замуж. Двадцать процентов — это много, это целый поход получается.

Демин, опустив голову и пристально глядя себе в переносицу, словно считывая оттуда результат, докладывает:

— Двадцать не двадцать, а десять и у нас наберется. И все они потом мечтают стать вдовушками.

— Жалко тебе, что ли? — отзывается хозяйка и лениво поднимает на него волоокый взгляд.

— Да нет, не жалко, но не по порядку, не по справедливости.

Она мощно вздыхает, восстанавливая недостающую справедливость, с молчаливой важностью наливает себе из новомодного стеклянного заварника чай, кивком спрашивает у Анатолия, не налить ли и ему. Он, покачивая головой, отказывается. Демин наливает себе водки и тем же способом, кивком, обращается к Анатолию. Тот отказывается и от водки.

— Я тоже желаю рассказать... из заграничных впечатлений... — выпив, говорит Демин с усмешкой, обращаясь к Егорьевне. — Интересная там жизнь. У нас она теперь тоже интересная, но там все равно интересней. Потому что там все передовое, а уж мы потом следом, вприпрыжку. Я там видел... и вот теперь думаю: может ли у нас быть такое?

— Где и что ты, Демущка, мог видеть? — с милой иронией спрашивает она и, подперев рукой щеку, клонясь на правый бок, ближе к Демину, принимает благосклонное выражение.

— Видеть я мог в заграничном государстве Молдова в позапрошлом году. Мы с тобой

тогда еще не были близко знакомы, а то бы я, конечно, не поехал, мне бы хватило твоих рассказов. Летал я туда дядю хоронить. Он у меня был последний дядя, с отцовской стороны, а жил в Кишиневе, он там сорок лет братьям-молдаванцам помогал промышленность поднимать. Еще бы пожил, да молдаванцы не велели. У них там на фронтоне одного дома лозунг такой... сам видел. Аршинными буквами на русском... вообще-то русский они там метлой поганой везде повыметали, а тут для нас, чтобы мы читали... выведено огромными буквами: «Русских за Днестр (в Россию, значит), евреев в Днестр, хохлы сами разбегутся». — Демин пошлепал губами, изображая, до каких границ может дойти разгулявшаяся дурость, и продолжал: — Дядю своего я опоздал похоронить, на три часа опоздал. Без меня похоронили. Зато насмотрелся, пока жил там до девяти. Октябрь, теплынь, еще лето, народ на улицу высыпает, народ там очень общественный. Ну и я посередь него шмыгаю.

— Как мышка, — пропела Егорьевна.

— Как коломенская верста. Но и коломенская верста будет шмыгать, когда объяснят ей, что по-русски на улицах разговаривать опасно. Пришибут ненароком, как вражеского шпиёна. Солнце светит, город красивый, я в нем и раньше бывал, к дяде же после армии приезжал. И народ раньше был нормальный, а тут сделался прямо злой, ходят и высматривают, на кого бы наброситься. Я стараюсь не обращать внимание на обстановку, гуляю. Замечаю: парк Пушкина остался под этим же названием, памятник Пушкину тоже стоит, хоть на него и было покушение. Ну, думаю, и я должен уцелеть. Слышу: смех, музыка, праздник. Недалеко от парка Пушкину памятник Штефану Великому, он раньше в парке и стоял, но его перенесли... чтобы не было, значит, подчинения. И русские буквы с памятника срезали, свои, самостийные, наклеили. Штефан этот в средние века жил. Стоит на высоком постаменте огромный свирепый дядька, правда что великий, правой рукой крест над собой поднял, в левой меч держит. А вокруг свадьба. Я протиснулся, гляжу: невеста в этой... как ее? — в фате белой, а сама потрепанная такая, 29-й свежести, по лестнице на постамент взобралась... это ведь надо было — лестницу из дому приволочь!.. взобралась к Штефану и к ногам его льнет. А выше достать не может, размеры не позволяют. Думаю: фотографируется на память. А жениха не видать. Невеста чего-то покричит, покричит в толпу, азартно так, не по-свадебному, и опять к ногам Штефана... прямо богатырские ноги, толще, чем у слона. Замечаю: веселье вокруг не так чтоб уж свадебное, но цветы, цветы, все завалено, коробки с подарками. Она ползает в ногах у Штефана, а он стоит, ноль внимания.

— Кино снимают, — вставил свою догадку Анатолий.

— Кино, да не то, шоу, да нехорошо, — Демин покосился на Егорьевну, она, делая вид, что рассказ ей совсем не интересен, закатив глаза и нажевывая конфеты, уморительно вытянув губы, за которыми, слизывая налипшую конфетную кашу, метался язык, откинувшись на спинку стула. Невозможно было удержаться — и Демин машинально тоже повозил языком и только уж после этого направил его по назначению, чтобы продолжить рассказ. — Догадаться-то я догадался, что это не кино, а спросить... молчу. Слышу две старушки рядом шепчутся по-нашему: с ума, мол, сошли... Так что оказалось! — Демин мрачно взглянул на Егорьевну, продолжающую самозабвенно крутить во рту языком. — Вечером по телевизору передают: какая-то фокусница, самая большая у них там задира против русских... стихи сочиняет... специально разошлась с мужем, чтобы в патриотических целях выйти замуж за Штефана. Вот как бы, например, — жестом приглашения наклоняясь к Егорьевне и протягивая ладонь, сказал Демин, — вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого. Она за своего Штефана Великого, а ты бы, чтобы утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо. А?

— Придется подумать, — ласково отозвалась Егорьевна.

— Карусель ты моя ненаглядная! — постарался он сказать с грустью. — На все-то ты согласная... жила бы страна родная! Нет, что это все-таки делается — ты можешь ответить? Что надо бабам? Живых мужиков уж совсем ни во что не ставят, каменные, с трехэтажный дом, фигуры им подавай! Что вы в них находите?

Напросился Демин на ответ и незамедлительно его получил:

— Что надо, то и находим.

Самое время было подниматься, и Анатолий стал прощаться. Демин вышел из-за стола и, вытянув голову, поворачивая ее то в сторону Анатолия, то в сторону Егорьевны, топтался, не зная, куда двинуться.

— Посуду мыть, Демушка, посуду! — распорядилась хозяйка, приходя опять в деловое настроение.

Иван Савельевич жил в большом и бойком пригородном поселке, через который проходили две дороги на Байкал: одна из Иркутска делала дугу и возвращалась на накатанный Байкальский тракт, а вторая тянулась больше ста километров на западный берег. Дугу эту дачники любили: тут хороший хозяйственный магазин, тут выпекался вкусный хлеб и тут же самосевом пророс небольшой базарчик на площади, откуда южная и западная байкальские дороги расходились в разные стороны. Все, что требовалось для ремонта и огорода, для стола и развлечения, тут и добиралось без толкотни в десять–пятнадцать минут, после чего, сбежав от городской тесноты и светофоров, можно было катить спокойно дальше.

Изба Ивана Савельевича стояла в сторонке, по дороге в пионерский лагерь, давно заброшенный и разграбленный, в редколесной сосновой рощице. Вразброс в ней стояло еще несколько изб с огородами; рощица, потеснившись для них, их же потом и защитила: поселковым сходом решено было для дальнейшего заселения ее закрыть.

Три прямоствольных сосны с высоко задранными ветками гнулись-шумели под ветром и во дворе Ивана Савельевича. А двор всегда был забросан ноздреватыми шишками, которые шли потом в дело для топки самовара. Скотину Иван Савельевич, оставшись в бобылях, давно уже не держал, но по весне привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо. Жил он с Николаем, младшим сыном, а в это лето у них гостила дочь Николая десятилетняя Дуся, девочка, как говорил Иван Савельевич, «на два лица»: то квелая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по погоде, кудахтистая, что-то наговаривающая и напевающая, играющая роль хозяйки. Дусю, как и младшего братца ее, мать после развода с Николаем увезла в Ангарск — и вдруг отправила ее к отцу и деду, к их несказанной радости, даже не предупредив. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спрятали, считалось, за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе, и кобель сигал через него почем зря, едва перебрал лапы.

И, как давно уже не было, стало уютно Ивану Савельевичу в доме — эх, если бы еще отгородиться совсем от мира и унять израненное сердце. И Николай, поднимая руку на себя, стрелял в него, и Тамара Ивановна, наводя свою справедливость, тоже часть картечи выпустила в отца. Но вот собрались здесь возле него эти две несчастные девчонки, тоже подбитые выстрелами, и поверилось осторожно, что, быть может, самое страшное позади и должно же из горя горького выпечься утешение. Ему уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, исхлестанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы окорилось с выщербами, грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто тыкались слепо, мимо цели. Но, проведя полжизни в лесу, запас сил он в себе еще ощущал и земля под ним еще не шаталась. Если бы не горячило постоянно и не взбрыкивало испуганно сердце, примериваясь, как ему придется выпрягаться... Если бы не стискивало временами голову так, будто в нее вкручивают металлический обод...

Он поднимался после ночи рано и, глянув на щель в заборке на спящих в соседней комнате девчонок, шел во двор искать работу. Невелико хозяйство, но она находилась всегда — накачать воды в бочки для огородного полива, прибрать одно, другое, пятое, десятое, накормить молодок, которые вот-вот начнут нестись, поговорить с ними, а потом поговорить и с кобелем, еще не омужичившимся, игривым, ревновавшим Ивана Савельевича к молодкам

и гонявшим их так, что они разлетались от него, как перья. А потом в летней кухне вскипятить чай и, отдыхаясь облегченными, снизывающимися с какого-то мотка, вздохами, долго пить его на крылечке с растворенной за спиной дверью и ощущать, как втягивает туда, внутрь, уличный воздух.

Девчонки поднимались поздно. Ни та, ни другая на улицу за ворота не рвались. Дуся привезла с собой огромную, как библия, «Энциклопедию женщины» и утыкалась в нее, забравшись с ногами на продавленный диван в прихожей и часто и гулко перелистывая тяжелые страницы. Ивана Савельевич все подмывало взглянуть в эту «библию», чтобы разобраться, полезна ли она для подростка, но рука не поднималась: не его это дело. Ну и высмотрит, ну и что — запретит? Да нет, только отодвинет от себя девчонку. С ними теперь надо как-то по-другому, чем «можно» или «нельзя». Вон морковка нынче выскочила чуть не на две недели раньше обычного срока — и разберись: или семена такие, или общая атмосфера потянула. Ох, эта общая атмосфера!.. чтоб ей было пусто.

Не понуждал Иван Савельевич девчонок и к огороду, но к вечеру, когда ослабевало солнце, они раскачивались сами; младшая, Дуся, при этом делала заявление: «Дедушка, мы идем полоть! Дедушка, ты слышишь?» Ей требовалась похвала еще до начала работы.

— Ну и ступайте, — отзывался он. — Дело хорошее. Не перестарайтесь только. Вы хоть морковку от морковника сумеете отличить?

— Они в малом возрасте не отличаются, — к его удовольствию толково отвечала Дуся. — Пускай подрастут вместе, потом разберемся.

Светка на тонкой шее тянула голову и вслушивалась, она все еще не пришла в себя и смотрела вокруг с пристальностью глухонемой.

О, Господи, спаси и помилуй неразумная чада Твоя! Так их много, вся земля устелена ими от одичавших злаков! Для чего, Господи, предназначаешь Ты столь щедрый урожай? Для кучного выправления или для единовременного выкоса, чтоб пресечь недостойное?!

Николай летом дома бывал мало. Он подсаживался на лесовоз, отворачивающий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки километров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз, деляны, свои тропы. Людей он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо. За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельевичу бабка Суслониха, прозванная так за ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленное на короткие и крепкие ноги; она ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай с Иваном Савельевичем, полгода этим жили, и она, продавалка. Николай ходил без ружья, хватит — настрелялся, и пропадал иной раз по неделе, а осенью и больше. Но и дома отмалчивался, отвыкая от слов; когда узнал о случившемся с сестрой, заплакал, из вытекшего левого глаза побежала струйка желтой слезы. «Она бы лучше мне сказала», — выговорил с трудом и тут же испугался своих слов, замотал головой. Светку, когда привезли ее, погладил рукой по плечу и тут же спрятался.

Анатолий приезжал через день, новости не могли быть утешительными: Тамару Ивановну судить не торопят, от адвоката она отказывается, говорит, что защищать ее не нужно, никому она не верит. Областной следователь топчется на месте, ждет окончательных результатов судебно-психологической экспертизы. И все-таки есть одно, непроверенное... но как знать!.. В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца, и в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря. И вполне может быть, что кавказцам, которые преследовали Анатолия, теперь не до него, в последнее время охоту за ним они, похоже, сняли.

Иван Савельевич предостерег:

— Но ты Светку все-таки не торопись забирать.

— Нет-нет, пускай здесь побудет. Как она — оживает?

— А не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной

раз глядишь: то ли от боли морщится, то ли силится улыбаться. Это хорошо, что они тут с Дусей вместе.

Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее, Иван Савельевич за столом на скамейке у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки, Анатолий напротив, задрав высоко колени и утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаевничали, посуда была еще не убрана, и над нею кружила пчела. Дверь в сенцы была открыта и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок сквозящие от стирки ситцевые занавески. В избе было прибрано и все-таки сиротливо без хозяйки, сам жилой дух казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна свежие занавески, вытирала в межкофее рамки с фотографиями под стеклом, смахивала тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканые, еще с Ангары привезенные, половики и коврики, но проходило несколько дней и вновь проступала серая, золистая испоть, и опять все покрывалось сиротством. А без Тамары Ивановны что станется, и говорить нечего.

Солнце сдвинулось и перестало бить в окно, возле которого сидел Иван Савельевич, нагретый воздух перед глазами Анатолия в четко очерченном квадрате окна курился, дрожал. И в этом струении марева казалось, что свисающий с ближней сосны шест, которым поднимали на высоту скворечник да так и оставили там, легонько качается стоймя, чтобы, раскачавшись, прыгнуть. Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он пустовал. Его из году в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разогнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий домик и пытались столкнуть его вниз. Пойми эту жизнь... ничего-то нигде, оказывается, понять нельзя.

Уже неделю как жара не донимала сильно, дни стелились солнечные и яркие, но не гнетущие. За другим окном, на восток, цвела в палисаднике сирень, расклонив по сторонам тяжелые ветви в убранстве горящих фиолетовым огнем свечей. Обломанная сирень в банках с водой красовалась везде — и в спальне у девчонок, и в летней кузне, и в сенцах, и рядом с собачьей будкой на двуногой, с отростом, березовой чурке.

— Даже в самовар, вертихвостки, натолкали, — рассказывал Иван Савельевич. — И снует эта, меньшая-то, и снует: — «Деда, когда самовар кипятить будем?» — «Да кипятите, — говорю, — когда вам охота: не маленькие. А чего не маленькие — маленькие! Им охота, чтоб я ткнулся, увидел да ахнул погромче: «Эк она где, холера, проросла!» Мы ведь как разговариваем, Толя... Спросишь ласково — не знают, как отвечать. А разворчишься — это им то самое, глядишь, и по душе отзовутся.

Хлопнула с маху калитка во дворе — Иван Савельевич, вздрогнув, обернулся — никого, должно быть, выскочила Дуся. И спросил:

— Свидание-то не дают?

— Нет пока.

— А Ванюшка-то что ж не приедет сюда?

— Я пока его дома держу. За книжками сидит.

— Я уж перестал понимать, Толя, хорошо ли это — книги? Говорят: плохому не научат... смотрю я: запутать могут, хорошее с плохим воедино смешать. — Иван Савельевич опять оглянулся во двор: кто там мог проскочить в калитку? — и продолжал: — Николай у нас книжки читал... я радовался, пускай умнеет парень. А он вишь до чего поумнел! Шире головы. Он еще там, дома, — домом Иван Савельевич до сих пор называл деревню на Ангаре, — блажить стал. Задумываться начал. Наманят, наманят книги, насулят с три короба, а жизнь, она другая. И вот я думаю: человек от рождения, от родителей направлен по одной дорожке, по родословной сказать, а книжки его выгибают на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел, так он Ломоносов был, кругом его по ученой-то части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути... он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чащобу устремляются таких же, как они, без царя в голове, они все голодные до неизвестной жизни...

И вот он, Коля наш... Впопыхах женился, какую-то чудь в ней увидел, а она, чудь-то эта смазливая, зубастая оказалась, клыкастая, на нем же ездила и его же ни в грош не ставила.

Иван Савельевич вздохнул тяжело, с мыком, помолчал, облизывая сухие губы, и спросил у Анатолия:

— Ты не закурил?

— Нет.

— А я покуриваю. Думал, что до смерти освободился, а не смог. Да-а, — с горечью протянул он, возвращаясь к прежнему разговору, — начудили. Я ему, Николаю, еще в те поры, как разглядел хорошенько его чудь, разьяснял... Говорю: вот поставь ты передо мной двадцать девок, двадцать невест, и я тебе без всякого испытания скажу, какую выбрать. На самую добрую покажу. Выбирать надо добрых, а не показных.

Анатолий представил себе этот осмотр, Ивана Савельевича, прохаживающегося перед строем выставочных невест, и засмеялся:

— А почему надо двадцать, а не десять?

— Десяти может не хватить. Лучше двадцать. Доброта у девки на лице написана, ей и мазаться не надо, чтоб себя красивой сделать. Природу не спрячешь, она себя обязательно покажет.

Иван Савельевич тяжело вылез из-за стола, потоптался на месте, наставляя затекшие ноги, и пошел посмотреть, где девчонки. Светка в летней кухне играла с котенком и раззадорила его до того, что он напрыгивал на нее, взобравшуюся с ногами на голый деревянный топчан, она вскрикивала, перебирая ногами; котенок, пушистый комок из желтого и белого, отскакивал, не разворачиваясь, шлепался на спину, взвивался вверх, чтобы приземлиться на лапы, делал стремительный разбег и снова кидался на Светку. Иван Савельевич от порожка полюбовался, и, когда Светка, ухватив котенка за шкурку, выставила его за дверь, за спину Ивана Савельевича, спросил:

— А Дуся где?

Девчонок так часто приходилось спрашивать, где одна и где другая, что и они тоже научились не выпускать друг друга из виду.

— Где-то за воротами, — задышливо, птясь от котенка, приседавшего для прыжка через порог, отвечала Светка и ждала, когда Иван Савельевич отойдет.

— Шла бы, посидела с нами, пока отец не уехал.

— Ну, потом, — отговорила она и, оставшись в кухне, прикрыла дверь. Пойми от кого — от котенка или от деда.

Воротившись, Иван Савельевич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порывлся на полочке возле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать самокрутку. Сигареты он не признавал, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, отдышался и опять приободрился.

— Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтобы свернули нас в бараний рог. Я вот тебе расскажу...

И рассказал Иван Савельевич историю, которая вспомнилась ему, надо думать, раньше и вспоминалась не однажды в эти дни, а теперь запросилась наружу.

— Это сколько же годков минуло? — спросил сам себя и прикинул: — Да уж не меньше тридцати. Томка тогда с Дусю была, может, немножко постарше. У нас в деревне вскорости после смерти Сталина угнездилась одна семья. Сам он, хозяин-то, был в наших краях на высылке, а как дали ему вольную, ворочаться не стал, откуда вышел, а выписал себе жену с погодками-ребятенками... мальчишка и девчонка были... и осел как вольнопоселенец. Кряжеватый такой мужик, рожа хмурая, все попервости в зеленых галифе ходил, в отместку, поди, тем, кто его в лагере караулил. Звали Ефроим. Заняли они избенку в три окна на верхнем краю деревни, последний парнишка уж у нас народился. Заняли избенку-горемыку, а потом и давай строиться, и давай. И это по тем временам, когда мужика гнули в бараний рог: на заем последнюю копейку отдай, молоко от коровы на молоканку отнеси, яйцо от курицы в сельпо сдай, огородные сотки еще и до Хрущева обрезали. А он в

рост и в рост. В колхоз не пошел, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то чинодралом заделался. Но это уж потом. А до того при самой нашей глухой бедности... она его не касается, наша бедность... На задах избенки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избенки, а избенку смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба некорыстеньякая, росточку небольшого, а тоже пятижильная, так и снует, так и снует. Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, у нас контора была под тесом... Обнес свое поместье глухим забором, в улицу — высокие теремчатые ворота под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы возрос как чирей на ровном месте.

Иван Савельевич говорил неторопливо, с улыбочатой усмешкой, подкивывая себе и морща и без того морщинистое лицо. И последние слова подвел, прямо как к воротам, к вопросу.

— А с чего возрос-то? — спросил Анатолий, слушавший невнимательно, с усилием, как и все теперь делавший с усилием, перебогавший какую-то налипшую изнутри, как грязь, тяжесть. — С приисков, что ли, явился?

Иван Савельевич с готовностью подхватил:

— С приисков, говоришь? Ну да, с приисков. С тех, где под конвоем водят. Сам он не признался бы, но слух такой стоял: когда мы Украину от немца отбивали, он в лесах против нас партизанил.

— Ну, за это так скоро не выпустили бы...

— А там тоже после Сталина порядка не было. Одних за колоски в землю вбивали, других из-под самой страшной статьи втихомолку выводили. Умел он, значит, и там себя поставить. Такие нигде не растеряются, повсюду найдут кума и брата.

— Но откуда же у него взялись деньги? Не в огороде же он их нашел?

— А вот этого никто не знал, — быстро и уверенно отвечал Иван Савельевич, ответ у него был готов. — Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю: это ему баба с родины доставила. Он оттого, думаю, и не захотел на родину ворочаться, что не мог там ими распорядиться, они у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах чего только не бывало.

— А потом он, значит, с тобой воевал?

— А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бутылку — идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, любят его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирюках без нужды в людях. На подмогу, я говорю, зазывал, а так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не водилось. Мы для него были люди десятого сорта.

Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а потом встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала в руке.

— Послушай, послушай, Света, — сказал ей подбадривающе Иван Савельевич, — какую мы оказию с твоей мамой прошли. Она тогда еще на подростке была, босыми ногами пыль на дороге взбивала... Ты дверку в кухню прикрыла?

— Прикрыла.

— А то кобель бы не полез. Он у нас из варнаков.

Иван Савельевич продолжал рассказ, а Анатолий посматривал на Светку, не слушавшую, уставившуюся в окно, за которым, кланаясь, тяжело раскачивались яркие гроздья сирени. Оттуда же заглядывало и солнце и Светкино лицо в обрамлении золотисто-смиренного закатного потока выпечатывалось особенно четко. Не было на Светке ее лица, слезло оно — так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжелой болезни. Все в этом новом лице обострилось и распалось: глаза, глядевшие тускло, сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы, тоже сами по себе. Все на месте и все сдвинуто, не соединено: во всем видна стылость

донельзя измученного человека. «Чем бы развлечь здесь дочь, что бы придумать?» — стал размышлять Анатолий. — Может, телевизор сюда привезти? Евстолия Борисовна свой, конечно, не отдаст, он для нее весь свет в окошке. Но теперь у многих по два, по три телевизора; если поспрашивать — найдется, поди... Сидели бы девчонки, смотрели...» И услышал голос Тамары Ивановны: «И что бы они смотрели? Не насмотрелись еще, что ли, не отравились до конца жизни? Не надо, Анатолий, не смей!».

Иван Савельевич говорил:

— Парнишка этого Ефроима, Гошка, все на мотоцикле гонял. И все нашу Тамару пугал. Разгонится и прямо на нее. Она отскочит... пока мотоцикл разворачивается, то убежит, то на забор запрыгнет. Ухватил я его как-то на ходу за воротник, поставил на ноги. «Ты, парень, что делаешь? Ты же ее изувечишь?» Зубы оскалил и на меня, как звереныш: гы-ы! Не подействовало. Снова руль на девчонку. И опять, и опять. Кончилось тем, что наскочил и ободрал ей ногу чуть не до кости. В район, в больницу я ее возил. Зашили, замотали — месяц на ногу не приступала. Пошел к Ефроиму: так и так, уйми своего парня. Он на меня вточь так же зубы: «Гы-ы, у них это, можа, любовь». И меня же высрамил, что у меня девчонка по улице шляется.

Стукнула калитка; Иван Савельевич, прерываясь, крикнул в окно:

— Мы все здесь.

Вбежала Дуся, раскрасневшаяся, с короткой мальчишеской стрижкой, в короткой майке, по моде не закрывавшей пупа, и в шортах, получившихся от обрезанных, одна штанина короче другой, джинсов. Глаза ее блеснули удивлением от неподвижно расположившихся фигур, и она заявила:

— Хочу поесть.

— Ты только не расхоти, — сказал Иван Савельевич. — Погоди чуток, мы вот скоро закончим, я расскажу, чем дело кончилось, и мы твоему хотению дадим свое имя.

— Как это?

— А что имеем, то дадим. А чего нет, того и не будет. Сядь, прижми свою вертушку. — Небольшо-то и вертлявой была Дуся, и сказал Иван Савельевич... для всех ребятишек заготовленными словами сказал. — Сядь и слушай. Сейчас и про папу твоего будет.

— А что про него будет?

— Не забегай вперед, слушай. Садись вот рядышком со мной.

Произошло общее перемещение. Иван Савельевич подвинулся на скамье, и Дуся сбоку водрузилась на нее с коленками; Анатолий подъезло к диванному валику, облокотился на него, приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка.

— И пошла у нас самая настоящая вражда, — вернулся к рассказу Иван Савельевич и с укоровой почесал седую клочковатую голову. — До последнего случая я вроде сильно и не вражевал на него, думал: дурость и дурость, должна же она затихнуть, эта дурость, ведь рядом живем. Ан нет, Толя, тут не простая обнаружилась дурость. Он, этот Ефроим, он что... он подсмотрел нашу слабость. Не он один подсмотрел... если на теперешнее время оглянуться — много кто подсмотрел. Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той поре уж в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет впору и не впору, охранного закона ему не писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол куда следует. Отвертелся и на меня же прокурором смотрит. Идешь с поклажей на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться... у нас там уж большое хозяйство расчалось... идешь, он на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.

— Ты когда, — спрашивает, — утопнешь?

Вот до чего у нас дошло! Он Ангару за свою собственность стал считать. Я креплюсь, а вовнутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утопленником меня зреть, а в самом закипит: чем бы тебя, вражину, погладить?

— А когда папа будет? — поторопила Дуся.

— Вот сейчас и будет. Потерпи. Сейчас мы с твоим папой сядем в лодку и поплывем. Плавали мы туда-сюда часто, хозяйство там, дом здесь. У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мотор «Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет сквозь любую непогоду. И вот так же мы с папой твоим, а ему в ту пору годков десять исполнилось, так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки, вода в Ангаре темная и низовка тянет. Но сумерки пока светлые, в них видать даже дальше, чем на солнце, и волна еще не разошлась. Идем поперек реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в корме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. Сближаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. На таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхаю и отверну. «Ах ты, гад! — думаю. — И тут захотел меня в грязь носом». Кричу Кольке: «Падай!» и руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос развернуть под шитик...

Иван Савельевич сделал полагавшуюся паузу. Светка, откинувшись на спинку дивана, смотрела на него во все глаза, голые ее пятки, высывающиеся из босоножек и едва касающиеся пола, выплясывали нервную чечетку. Дуся, вытягивая шею и морща от напряжения нос, пыталась поймать себя в висящем над диваном зеркале. Анатолий спросил:

— Перевернулись?

— Шитик отбросило метра за три от нашего карбаза и перевернуло. Мотор оторвало, Ефроим вынырнул еще дальше. Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, он, чего доброго, и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлынула: ты хотел, чтобы я слабость свою перед тобой показал — на же: подгребаясь к нему, сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину дать, да ладно, думаю...

Анатолий подождал и опять подтолкнул Ивана Савельевича:

— Ну и какое у вас дальше соседство было?

— Друг на дружку не смотрели. Я Кольке наказал никому не рассказывать об этом происшествии и сам помалкивал. Признаться, побаивался. От него всего можно было ожидать. Злого человека от зла отучить нельзя! — Дуся нетерпеливо подталкивала Ивана Савельевича плечиком, напоминая о своем голоде, и он поднялся, уже на ногах закончил: — А он недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопление, вся Ангара на дыбы, он чем-то поруководил-поруководил, а когда началось переселение, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь, живой ли, не знаю.

— Учить таких надо, да, дедушка? — как поняла Дуся, так и спросила.

Иван Савельевич подумал.

— Учить надо — осторожно ответил он. — Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех вместе надо. А как — не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили... Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея терпят. Злодей к Богу не торопится. А власть, она вишь, какая власть, она распояску злодею дала, с ним по совести не поговоришь. Как на фронте было, — обращаясь уже к одному Анатолию, добавил Иван Савельевич. — Кто кого: перекрестимся втихаря да с криком «За Родину за Сталина!» — в атаку. Вот так-то бы и теперь всем оставшимся народом!

Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая, задержались на выбитом ногами плешивом пятне перед воротами. Светка, оттиснув отца в сторонку, быстро, напрягшимся голосом, спросила:

— Папа, когда маму можно будет увидеть?

— Не знаю, — удивленный ее напористостью, ответил Анатолий. — Лицо Светки в зернистом свете электролампочки с дорожного столба было решительно, панцирной неподвижностью отблескивала на нем кожа. — Не знаю, — повторил он. — Может, на

следующей неделе, а может, и нет.

Прошло два дня — и вдруг Светка исчезла. Иван Савельевич с ночи встал по обыкновению рано: накрапывал из безнебья, из низкого серого сумрака, дождь тихой моросью, сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огороде дикой коноплей. И, пока не разошелся дождь, прикатил Иван Савельевич на тачке три возка черной земли на огуречную грядку, чтобы заглубить уже поднявшиеся всходы. Под дождем оно хорошо, сразу же и породнит старую засыпку с новой; после этого обошел раза три огород, размечая в памяти, что надо будет сделать самому и на что направить девчонок. Дождь не расходился, и подставляя ему, слабо сеющемуся, голову и лицо было приятно — как помазание мягкой редкошерстной кисточкой происходит, и руки, творящие его, выбирают самые чувствительные места. Потом, как всегда долго, пил Иван Савельевич чай, шикая на куриц, вспрыгивающих на порожек летней кухни, и слабым поминаньем, не торопясь выстраивать их в черед, касался своих житейских туч, то отдергивая память, то снова заставляя ее подле больного места.

И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от позевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко раскрытого рта, выговорила:

— А где-э Све-эта?

— Где ей быть? — посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. — Возле тебя где-нибудь. Вы вместе почивали.

— Не-э-ту.

Иван Савельевич заглянул в избу, прошел в огород, уже в тревоге выскочил в улицу: нету. В том же порядке, с зачастившим сердцем, заставляя себя не торопиться, обошел с полным обыском все, где Светка могла находиться, — нигде ее не было. Сунул Дусе стакан горячего чая, все остальное съест сама, и бросился на автобусную остановку. А прибежав, понял, что бежал без головы: если бы Светка решила уехать, за утро она бы уехала десять раз, а в небольшой очереди, сидящей возле магазина на крыльчке и толкущейся рядом, ее быть не могло. Поспрашивал в магазинах, в том и другом, — не видели. Обратившись домой, Дуся встревоженно и молча следила из летней кухни, как он мечется, и продолжала в испуге намазывать на хлеб варенье и слизывать его языком, выгнув над столом голову и глядя в раскрытую дверь.

Иван Савельевич присел рядом с нею. Украли Светку? Но как ее могли украсть — не из постели же вытащили?! Схватили, когда Светка вышла из избы? Но она бы закричала! По тихому утру он бы услышал ее откуда угодно. Сама, не сказавшись, сбежала? Но почему? Зачем по следу одной беды догонять другую?

Он решил: подождет час, а потом надо ехать в город. Час он дал себе на всякий случай: а ну как вздумалось Светке погулять по рощице, которая еще за двумя дворами переходила в лес. Через час надо бить тревогу. Но как ехать, бросив здесь Дусю? Куда ее? Тащить с собой? Пугать своим испугом? Да и что там, в городе, будет?

Он выждал час, прибавил еще полчаса и бросил-таки девчонку, решив, что по дороге на автобус забежит к Суслонихе и попросит ее приглядеть за Дусей. Но Суслонихи дома не оказалось; бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь; от крыльца, со ступенек, уставил на Ивана Савельевича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову набок и шевеля прозрачно-розовыми ушами; с поката над сенцами уже струилась вода. Дождь томился, томился да расходился. И Иван Савельевич, перекрестив про себя Дусю, не стал возвращаться: будь что будет.

Он поехал уже в двенадцатом часу; из пористого замшелого неба сыпало вовсю. В городе по обочинам дороги налились лужи, люди под зонтиками, по-куриному вытягивая шаг, крались и подпрыгивали. Все было мокро, мрачно, все погрузилось в тяжелое ожидание.

У Ивана Савельевича и внутри будто отсырело от разлившейся смертной тоски. Если он не застанет сейчас Анатолия дома, что ему делать? А если и застанет, вместе они, потелефонив туда-сюда, уложат на коленях руки в оцепенении: что дальше?

А вышло, что и Анатолия он не застал, дома был Иван, и осторожные их звонки Евстолии Борисовне и в прокуратуру ничего не дали. В прокуратуру они звонили не в ту, а Евстолия Борисовна первой спросила, когда приедет Светка. Иван, еще больше вытянувшийся в последний месяц, с длинными руками и огромными босыми ногами, задумчиво хлопал глазами и пытался вспомнить, что говорил ему перед уходом отец. Кажется, собирался пойти в какую-то мастерскую. Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил Иван Савельевич внука, а сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой службы, поплелся в обратную дорогу.

Да и не поплелся, а погреб. Дождь полоскал без устали, из трубного зева водостоков вода выфыркивала залпами, залитый асфальт пузырил, люди попрятались, машины медленно проплывали, отваливая на стороны волны. «А это к чему? — огромным, ко всему приложимым и ничто по своей безответности не говорящим вопросом мучился Иван Савельевич, преодолевая потоки.

Эти два дня после отъезда отца прожила Светка в непрерывном нетерпении, точно что-то нагорало в ней и нагорало, превращаясь в золу, но под золой не затухли и теперь принялись горячить угли. Она продолжала оставаться вялой и неразговорчивой, все так же смотрела перед собой пристально и невидяще, но и лицо ее от внутреннего напряжения морщилось, и плечи судорожно вздрагивали. Светка ждала отца, считая, что должно что-то обязательно произойти и он привезет новости. А что должно произойти и какими могут быть эти новости, она не представляла. Но если занывает так в непрекращающейся муке — значит занывает неспроста. Однако отец, по обыкновению пропустив один день, на второй не приехал. И Светке стало совсем нестерпимо и за дедушкиным забором, и в своем нездоровом почужевшем тельце. Ей чудилось, что от нее и пахнет нехорошо — и чем дальше, тем больше. Прождав отца до вечера, утром она решила ехать. Ничто не могло остановить ее — ни переполох, который поднимется здесь и дома, ни опасность, от которой ее прятали, ни унижение, которого не миновать, едва лишь она начнет добиваться своего. Хоть что, хоть в тысячу раз больней, но только не так, как теперь, в дошедшем до края изнеможении.

А, решившись, она и спала хорошо, и проснулась рано. Услышала, когда Иван Савельевич вышел, зная, что теперь до позднего утра в избу он не вернется, высмотрела в окно, что нашел он занятие в огороде, и выскользнула в калитку. В легкой беленькой курточке на плечах, в тонких летних джинсах с подвернутыми штанинами, в разношенных шлепанцах и с белой маленькой сумкой в руке, в которой ничего, кроме мелких рублей да носового платка, не было. Накрапывал дождь, гулко, будто соскользнувший и разметавшийся по земле гром, мычали коровы. Со стороны города, как к ночи, вставала темнота. На автобусной остановке Светка еще издали заметила Суслониху, низкую и громоздкую, как животное, мотающую маленькой головой, и отошла, а потом, когда автобус подкатил, бегом вбежала в последний момент в заднюю дверь и отвернулась, уставившись в стекло на убегающую дорогу. На автобусной станции в городе сидела в углу зала с опущенным лицом, прикрывшись ладонью, делая вид, что дремлет, изредка вскидывая из-под пальцев глаза на стенные часы со звучно прыгающей секундной стрелкой. Вскоре она и верно задремала, успокоившись, ощутив и в себе часовой механизм, отбивающий секунды и умеющий насторожить ее на время, когда нужно будет подниматься. Хлестала дверь, плавал от стены к стене гул голосов, слышались объявления — и все это превращалось в чеканный ход часов, стерегущий среди многолюдья ее жалкое укрытие. И так ей наконец было хорошо в эти полчаса, когда совершенно забылась она, столь сладкое она испытывала забвение, так укачало ее это спокойное людское волнение, что, придя затем в себя и

оцепенев от возвращения, она еще долго набиралась решимости, чтобы подняться. Объявили посадку сразу в два больших автобуса, ползала зашевелилось, заторопилось к дверям, и только тогда общий порыв подхватил и ее. Она вышла, окунулась в настегивающий ливень и пешком побрела в сторону центра.

В небольшое, в три этажа, аккуратное белое здание, сохранившее свою белизну даже в ливень, мирным своим видом больше похожее на какое-нибудь скромное благотворительное общество, чем на областную прокуратуру, Светка прошла беспрепятственно. Охраны здесь не водилось, доверительным расположением небольшого уютного фойе она, казалось, и не была предусмотрена, а за столом дежурного слева от входа напротив мраморной лестницы, никого не оказалось. Светка задержалась у дверей, давая стечь с себя воде и глядя под ноги, и почувствовала, что туда же, под ноги ей, на происходящий непорядок, смотрит кто-то еще... Он, этот человек, окликнул Светку с противоположной стороны фойе и спросил, к кому она пришла. Спросил вполне дружелюбно, но переживая, казалось, за коллегу, в кабинет которого может переместиться это истекающее водой существо. «К Николину», — слабым голосом ответила она; это было у нее первое слово за весь день. Человек подошел к столу дежурного, поднял трубку телефона и набрал номер. Только теперь, протерев глаза ладошкой, она рассмотрела его и больше всего на его лице, белом, нисколько не загоревшем, поразили ее очень густые и очень лохматые брови, из-под которых с трудом выглядывали маленькие глаза. Николин в трубку удивился: «Разве я вызывал вас?» — «Мне надо», — сказала Светка и после продолжительной паузы, способной напугать, услышала: «Поднимайтесь и ждите, сейчас я занят».

Перед дверью Николина на втором этаже она прислонилась к стене и почувствовала себя почти так же хорошо, как на автостанции, когда она полностью забылась в себе, будто в уютном гнездышке. С волос продолжала стекать за шею вода и щекотливыми струйками сбегала по спинному желобку вниз, и куртка, и кофточка влипли в тело, оно зудилось, выгибалось и вздрагивало. И все равно было хорошо, всякое страдание в ней умолкло, поддавалось смирению и терпению. Впервые, еще не различив, не назвав ее, Светка коснулась истины: ожидание события сильнее самого события.

Минут через двадцать Николин крикнул через дверь, чтобы она заходила.

Он был немолод, с седыми висками и подсушенным правильным лицом, с прямой высокой фигурой и твердым взглядом глубоко посаженных глаз. В деле Тамары Ивановны обвиняемая была видна ему как стеклышко самого простого изготовления, но он с жалостью и даже с некоторым раздражением смотрел на ее дочь, начало и причину всей этой истории. В отличие от матери крепкого орешка из дочери не вышло. Беда невелика, если бы по множеству самых неуловимых примет не распознавалась эта слабость в людях силой и грубостью. В благополучном обществе с действующими нравственными и юридическими законами эти противоположности сдвинуты, сильный становится терпимей, а слабый сильней, но как только люди выходят за установленные границы, неминуемо просыпаются самые грубые инстинкты и низменные страсти, и те законы, которые действовали в условиях «мирного» времени, становятся недостаточными не только по букве, но и по смыслу. Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью. Ее, эту грубую и жестокую силу, начинают бояться, даже прокурор в суде заикаясь произносит вялый приговор, который тут же отменяет общественная комиссия по помилованию. Правосудие не просто нарушается — его подвешивают за ноги вниз головой, и всякий, кому не лень, с восторгом и бешенством, мстя за самую возможность его существования в мире, плюет ему в лицо.

В такой обстановке, считал Николин, любая слабость, происходит она от государства или человека, провоцирует на новое преступление, и всякий слабый человек притягивает к себе преступника как магнит.

Кто виноват: у хозяина содержалась во дворе кормилица, волк забрался и, недолго

думая, зарезал ее, а хозяин, державший для защиты берданку, пальнул в волка, когда он терзал свою жертву, и не промахнулся. Волк не может быть никем иным, кроме волка, стало быть, и спрашивать с него, коли он существует в природе, нечего. Корова или овца в стае тоже не могут быть никем иным, кроме коровы или овцы, они защититься от волка не в состоянии. Хозяин с ружьем не способен возносить молитвы за волка, чтобы он переменялся и побратался с овцой. Так кто же виноват? Если бы не было в этом дворе овцы, волк побежал бы дальше, пока не отыскал овцу в другом дворе; если бы не было волка — тем более обошлось бы тихо-мирно, а если бы не было хозяина с ружьем — не было бы и выстрела, и отсутствие слопанной бесхозной овцы никто бы не заметил. Выходит, виноват хозяин, он своим грубым поступком принудил закон вмешаться и готовить последнее слово. Конечно, в деле Тамары Ивановны расположение фигур несколько иное, но схема та же самая. Не из дремучего леса явился хищник, а из общества, объявленного цивилизованным; не овца, бессловесная тварь, стала жертвой его, а родная дочь хозяина или хозяйки; хозяйка решила наводить свой суровый приговор не тогда, когда хищник крался к жертве, хотя намерения его и тогда были ясны, но не было еще состава преступления, а лишь после того, как преступление свершилось, и даже после того, как стреноженного хозяйкой и переданного в руки правосудия преступника вознамерились отпустить на все четыре стороны, чтобы следующей же ночью он набросился на новую жертву. Однако убийство случилось, волка в маске человека не стало, и этот конечный и исключительный факт затмил собою предыдущие события. Да, затмил, но ведь не отменил, не вошел в противоречие с ними и явился ничем иным, как их неоспоримым следствием.

Об этой истории много говорили, в том числе и у них в прокуратуре. Душою жалели Тамару Ивановну, служебным положением осуждали за превышение... за превышение чего? — материнских и человеческих чувств, за превышение чувства справедливости? Но как еще можно противостоять бешеному разгулу насилия и жестокости, если государство своих обязанностей не исполняет, а правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода? Как? Тамару Ивановну жалели и втайне ее оправдывали; о дочери же ее, как только заходил о ней разговор, неопределенно вздыхали, не желая договаривать: слишком большую приходится платить за ее честь цену — будто эту цену запрашивает она сама или будто слабость виновата в том, что она слабость.

С тем же чувством жалости и невольной брезгливости смотрел теперь и Николин на сидевшую перед ним Светку. Вид у нее после дождя был как у ошипанной курицы: и волосы влипли в голову, и одежонка в тело. Слабые грудки ужались так, что не топорщили кофточку, серое лицо вздергивалось, когда она простуженно швыркала носом и испуганно уставляла на следователя глаза; сидела она с плотно сжатыми коленками, придерживая их руками. Несчастная, на что-то решившаяся, чем-то подстегивающая себя девчонка, больше ничего в ней не было.

— Что еще случилось? — спросил он, показывая, что после случившегося все, что могло случиться вдогонку, большого значения не имеет.

— Мне надо повидать маму! — с отчаянной решимостью выпалили она.

— Надо повидать маму?

Кивнула всем дернувшимся телом.

— А ты представляешь, сколько мне всего надо, когда тебе надо, а мне не положено? Ты, голубушка, этого не представляешь, иначе ты бы не пришла сюда с таким заявлением.

— Я не могу больше.

Конечно, в это можно было поверить. Есть предел человеческой выносливости. Ее выносливость потребовалась дважды, раз за разом без передышки, и второй удар был не легче первого... Если представить человеческую выносливость в виде витой, как веревка, жилы, протянутой между двумя какими-то креплениями, то она у этой девчонки должна превратиться в лохмотья, держащиеся на волосинках, и эти волосинки, ободранные и нагие, выглядывали из всего жалкого облика девчонки, даже стали ее обликом и молили о помощи. Николин, представив, что такое теперь сидит перед ним, подумал: «Я смотрю на нее как на

помеху, срывающую мои сегодняшние планы, а ведь она вышла, чтобы сказать «мне надо», из таких зарослей, из такого отчаяния, что и представить нельзя. Бывают положения, когда человек чувствует себя ровно так, как говорят его слова. «Мне надо» — и больше ничего в ней теперь нет.

Николин со свистом выдул из себя набранный воздух, еще раз удивился этой невесте откуда взявшейся в нем манере подавать сигнал о принятом решении и сказал:

— Иди побудь еще в коридоре, я позову.

И он подвинул к себе телефон. Уговаривал, настаивал, взывал к человеческим чувствам, грозил карой небесной, обещал, на кого-то ссылаясь, кому-то напоминал, что тот его должник. Дважды выходил за какими-то бумажками, с заходившими к нему расправлялся быстро и решительно. Светка, сцепив замком на груди руки и затаившись, влипла опять в стену. Она слышала голос Николина из кабинета, могла бы слышать и разговоры, потому что говорил он громко, но ничто не подсказало ей, что можно вслушиваться в слова и составлять из них смысл, и она оставалась безучастной, выполняя лишь то, что было ей сказано. Проходя мимо, Николин возбужденно бросал «жди!» — и она сжималась еще больше, веря, что оттого, как она будет ждать, зависит, чему быть. Так продолжалось около часа; наконец Николин вышел с зонтиком в руках и закрыл дверь на ключ. «Поехали!» — сказал, торопливым шагом направляясь к лестнице.

Ехали на старенькой «Ниве» Николина минут двадцать и все вброд, вброд, и представлялось порою, что вплавь. Дождь то примолкал, то припускал вдруг с такой яростью, что под сплошным его боем становилось совсем темно и глухо. Ехали молча, Николин только покряхтывал от досады, еще не окончательно смирившись с тем, что день у него пошел наперекосяк, а Светка и соображала плохо, где она и что с нею происходит, не помня, что происходит на этот раз по ее воле. Подъехали к трехэтажному зданию, окованному с обеих сторон тяжелой бетонной стеной с колючей проволокой, сбоку, отдельно от общего входа, отыскалась невзрачная дверка, облегчившая проникновение внутрь, по узкому коридору попали в проходную комнату, где вдоль стен сидело несколько человек, тоже пришедших с улицы. Николин оставил здесь Светку и скрылся в другой, противоположной, двери. Вокруг Светки сидели в молчании и терпении, каких там, за стенами, не бывает, — совсем никуда не торопясь и ни о чем не спрашивая. Когда в очередной раз принимался нахлестывать дождь за окнами, еще теснее сжимались, еще больше опускались на дно своих тяжких дум или уж окончательного бездумья пожилые женщины, каждая в обнимку со своим горем-злосчастьем. И Светка среди них, равных ей по закаменевшей боли, опять отдалась удобному и глухому оцепенению: так хорошо ей было в беспамятстве и безволии, почти и на грани бездыханности.

Но вернулся Николин и повел ее за собой — опять по коридору, опять через двери и двери. Завел в кабинет: обшарпанный стол перед единственным окном, два старых стула с решетчатыми спинками подле стола, два у стены. И больше ничего; стены голые, окно затянуто дремучей вековой пылью. Какой-то маленький человек при их появлении поднялся из-за стола, что-то негромко сказал Николину и вышел. Николин сел на его место, поднял трубку черного допотопного телефона с пронзительным, как у сирены, гудком, что-то невнятное буркнул, дождался ответа, выждал еще отведенное время и, подмигнув Светке, тоже вышел.

В ту же минуту вводят мать. Человек, сопровождавший ее, от двери сурово оглядывает Светку и исчезает. Не помня себя, не способная соединить во внятную последовательность все происходившее с утра, Светка не узнает и мать, смотрит на нее с ужасом, потом со сдавленным и пронзительным вскриком бросается к матери и оседает у нее на груди.

Тотчас приоткрывается дверь, и вставленное в ее проем лицо чеканно командует:

— Ти-ха! Раз-веду!

Тамара Ивановна осторожно отстраняет вцепившуюся в нее Светку и вдавливает в свои глаза слезы. Светка пытается успокоиться, но едва лишь мать берет ее руку в свою, чтобы усадить на стул возле стены, плечики ее опять принимаются подпрыгивать от сдерживаемых,

клохчущих рыданий. Она умоляюще оглядывается на дверь, показывая, что сейчас этот приступ пройдет, сейчас, сейчас... как только она справится с собой. Тамара Ивановна рядом на стуле гнет голову к стене, ища опоры и твердости, и бормочет:

— Ниче, ниче... Это что же? Это ты откуда взялась?

Она в темной застиранной рубаше с накладными карманами и в темной же юбке в крупную коричневую клетку, на ногах старые кроссовки с короткой шнуровкой, те самые, в каких она ушла из дома. Волосы забраны сзади под резинку. Лицо почерневшее и почужевшее, глаза смотрят с силой. Жадно и пугливо всматривающаяся в нее Светка замечает в углах ее губ вскипевшую смолку.

— Ничего, — повторяет Тамара Ивановна уже спокойней и отирает пальцами губы. — Надо же — пробилась! — опять удивляется она. — Отец знает, что ты здесь?

— Нет.

— А мне тебя и надо было повидать. Ты как почуяла, что тебя-то мне и надо.

— Здесь страшно, мама?

— Да почему же страшно? Не страшней, чем там, у вас. Те же самые люди.

Светка тычется головой в материнские колени; Тамара Ивановна выдвигает свой стул поперед, удобнее устраивает на коленях лицом к себе Светкину головенку и, наглаживая, прижимает ее к животу. Светка всхлипывает совсем по-детски, но слова, которыми давится она, выговариваются со дна беспросветного отчаяния.

— Мама, как же мне теперь жить-то? — спрашивает Светка. — Как? Я сама себя ненавижу. Я с собой не знаю, что сделала бы...

Тамаре Ивановне хочется, в свою очередь, спросить: «А мне как жить? Мне-то как жить, дочь ты моя родная?» Но не спрашивает. Разве можно сыскать такие слова, которые бы их утешили, дочь и мать, сброшенных куда-то, где нет ничего, кроме пытки... Самые справедливые, самые надежные слова, способные дать утешение, не утешив, спекутся в том же пекле, в каком горят они. Больно, больнее боли больно. Все нутро выгорает. Тамара Ивановна нянькает на коленях дочь, затверженно повторяя: «ниче, ниче», наглаживает ее волосы, вытирает пальцами с глаз ее и свои слезы. Надо бы говорить какие-то напутствия, распоряжения, надо бы... много чего надо бы, коли подвернулся такой счастливый случай, но Тамара Ивановна боится испугнуть Светкину доверчивость, нежность ее и беззащитность... нет, не надо ничего говорить... так больно и так хорошо! И когда слышит Тамара Ивановна едва различимые Светкины слова: «Мама, ты меня не презираешь? Скажи, мама, скажи!» — она и на них не отзывается, а только еще крепче прижимает к себе Светку и раз за разом нагибает голову, чтобы поцеловать ее в мокрые глаза.

Когда, стукнув в дверь, входит Николин, они, выпрямившись, сидят рядом; Светка со склоненной на материнское плечо головой, кажется, измученно дремлет.

— Наговорились? — спрашивает Николин.

Отстраняя от себя осторожно Светку, Тамара Ивановна поднимается.

— Наговорились.

И чужим, излишне бодрым голосом, точно продолжая разговор, наказывает дочери:

— И мужикам нашим скажи, чтоб обо мне не беспокоились. Скажи, что я тут даже комиссарю немножко...

— Об этом и мы наслышаны, — с иронией соглашается Николин и дает ей знак, чтобы она выходила.

Тамара Ивановна приподнимает со стула Светку, еще раз целует ее и направляется к двери, за которой ее ждут. Светка только теперь понимает, что мать уводят и, не в силах совладать с собой, кричит: «Мама!». Тамара Ивановна уже за дверью вытянутой назад рукой делает ей прощальный взмах, как это бывало в детстве, когда ей надо было уйти, а они, ребяташки, не пускали, и тяжелая, глухая и тупая дверь закрывается за нею.

На улице Светка не замечает ни солнца, согнавшего тучи и ярко блестящего в лужах, ни шумного и веселого воробьиного гвалта на маленькой пустой площади, ни плывущего над городом сладкого боя церковных колоколов. Она с трудом взбирается с помощью Николина

на высокое сиденье «Нивы», и рыдания снова принимаются сотрясать ее маленькое изнуренное тельце, пляшут даже ноги. Николин, набросив руки на баранку и не делая попыток успокоить Светку, терпеливо ждет. Он слишком хорошо понимает, что у девчонки это прощание с собой, и с тою, какой она была раньше, и во что превратилась в последний месяц, и что это в корчах и муках рождается новый человек. Каким он будет, неизвестно. Но чем страшнее муки, тем больше перемены.

После свидания с матерью Светка в деревню не вернулась, осталась у бабушки, у Евстолии Борисовны. Скрываться больше она решительно отказалась, и ни отец, ни Иван Савельевич уговорить ее не могли. В ней вдруг появилось спокойное и непробиваемое упрямство: нет и никаких! Анатолий растерянно уступил, Иван Савельевич подавил-подавил на зятя, чтобы он употребил отцовскую власть, но, видя, что ничего тот употребить не может, в конце концов отступился. И от обиды почти перестал бывать в городе. За весь июль приехал лишь однажды, привез с огорода зелень и полдня промаялся перед окнами: никто не отвечал, полное запустение, полный разброд без Тамары Ивановны.

Иван перебрался на дачу и в город глаз не казал. Анатолий недоумевал: то пряником парня туда не заманишь, то не выманишь; Иван, рывками насаживая на крепкую шею голову, как всякий раз, когда требовалось выкрутиться, и, научившись простодушно выставлять свои невинные зенки, объяснял с глубокомысленным вздохом: «Земля потянула». Ну, как же — земля его потянула! — случилось что-то, что заставило его искать там укрытие, не иначе... Если так — не больно надежное укрытие. Анатолий попробовал по-отцовски поговорить — не получилось. И заговорил вяло, не зная, как ему теперь разговаривать с детьми, и, услышав отговорку, настаивать не стал. Он теперь ни на чем не настаивал и ни до чего не допытывался, а только скользил по дням-горушкам, как выпавшая из употребления деталь, ни на что в отдельности своей, вне сборки, не годная и постоянно получающая беззлобные и болезненные пинки. Иван, присматриваясь к отцу, невольно спрашивал: а мог ли он, отец, решиться на поступок, совершенный матерью? Не трус ли он? И отвечал себе: нет, отец не трус и на любой решительный поступок он способен, если... Если до него додумается. А он мог и не додуматься не от недостатка ума, а от какого-то особого положения ума, не посягающего на взлеты.

Друзей Иван после домашних несчастий растерял, и все больше нравилось ему оставаться одному. Дома он по требованию отца и в «санитарных целях», как изъяснялся Демин, также участвовавший в воспитании Ивана, высидел только неделю, да и то не без отлучек, чтобы не страдало самолюбие, а затем взял полную волю и уходил, куда глаза глядят. Оставаться в домашних стенах, сразу осиротевших без матери, онемевших без ее голоса и решительных шагов, стало невозможным, а уезжать на дачу... на дачу тогда еще не хотелось из чувства противоречия... отец советовал — ну и не хотелось. Почему он должен кого-то бояться? Мать не испугалась и тем самым как бы и ему наказала не бояться. Испытывая себя, он до глухой ночи бродил по темным и пустынным улицам, опустевшим сразу же, как только опускались сумерки; днем шел на рынок с «колониальными» товарами и, пристроившись в сторонке, подолгу наблюдал с каким-то странным наваждением за улыбчивыми китайцами и мрачными кавказцами, раскидывающими паутину, в которую уж как-то слишком легко и глупо попадались местные простаки. На рынок его тянуло все больше и больше — точно передалась эта тяга от Светки. Он многое научился замечать: вот подходит служитель порядка в форме и приценивается к свежей черешне, а к нему бросаются сразу двое-трое расторопных джигитов и наваливают в сумку и черешню, и вишню, и яблоки, и помидоры, и что-то еще... Разыгрывается незатейливый спектакль: милиционер, мордатый дядя с выпяченными губами, с которого кавказцы легко считывают тайные мысли, поясняет продавцам, что он просил только килограмм черешни и платить будет только за килограмм, остальное просит из сумки вынуть. Джигиты цокают языками,

размахивают руками: ай-я-яй! как же это они не поняли! как же оплошали! — и, вынув из сумки горсть ягод и два яблока, возвращают ее хозяину, берут с него за черешню и с ненавистью смотрят ему вслед. Через десять минут подходит к ним женщина, немолодая, зоркая, обманутая не единожды и на этом основании считающая себя опытной, кого ни на мякине, ни на фруктах больше не проведешь; она тянет голову, всматривается пристально в радужное сияние рассыпного южного изобилия... Но и на ней они, лицечеи, безошибочно читают все, что там написано. А написаны на лице этой женщины неуверенность, торгашеская безграмотность и обида за прежние обманы. Джигиты советуют ей взять вот это... они принимают бурно нахваливать это... женщина, зная, что верить им нельзя, отстраняется от того, что ей навязывают, и тянется к другому, к яблокам, которые надраны меньше, но кажутся ей сочнее. Она просит попробовать. Пожалуйста. С видом легкого разочарования ей подадут с ножа кусочек, отворачиваются. Но кусочек подан с яблока другого сорта — того, от которого она отказалась; в четыре снующих руки выкинуть такой фокус ничего не стоит, и женщина опять уходит обманутой.

Китайцы хитрее, кавказцы наглее, но те и другие ведут себя как хозяева, сознающие свою силу и власть. В подчинении у них не только катающая тележки местная челядь, с которой они обращаются по-хамски, но и любой, будь он даже семи пядей во лбу, оказывающийся по другую сторону прилавка. Эта зависимость висит в воздухе, слышна в голосах и видна в глазах. И те, и другие ощущают ее, кровь, разносящая импульсы, доносит, кто есть кто. Точно на огромной шахматной доске это предрешено расположением и активностью фигур, и назначенные существующими обстоятельствами позиции местами никак поменяться не могут.

Учиться Ивану оставалось еще год, и он решил, что школу обязательно закончит. Но прежние планы, куда дальше, вдруг отодвинулись и поблекли. И недавнее любопытство к нутрянному русскому языку, к корням его и ветвям, тоже отодвинулось и поблекло: разве это теперь главное? А что главное — не знал, но представлялось ему, что это должны быть какие-то физические действия, а не лингвистические изыскания. Только сейчас, оставшись наедине, он, казалось, наконец вытиснулся из себя и вышел в мир. И то, что увидел он в нем, поразило его.

Казалось бы, он должен осознавать происходящее и приблизиться к нему в совместных обсуждениях с кем-то, кто и опытней его, и старше, в чтении специальных книг, с помощью нацеленных извлечений из широкой картины событий, в результате всего того, что дает постоянная и длительная выучка... Что-то похожее и случалось изредка обрывочно и случайно, но сложиться в мировоззрение не могло. Да и не было у него еще никакого четкого мировоззрения, а вдруг в считанные месяцы точно открылось какое-то глубинное зрение и переместило его из одной действительности в другую. И все отчетливей, теперь уже сознательно и жадно вглядываясь, стал видеть Иван то, что прежде не замечал.

Огромные и страшные перемещения, от которых взрослые почему-то отворачивают глаза, происходят в мире, одни наступают, другие отступают, и среди вразброд отступающих, растерянных и обессиленных, как приговоренное жертвенное стадо, теснимое к обрыву и не понимающее, что с ним происходит, был и его народ. На самой-самой кромке обрыва вынесут ему окончательный приговор: одних, просветленных новыми знаниями и новыми правилами поведения, помилуют, других, обсудив, как гуманнее поступить с ними, отправят восвояси, в те глухие и немые свояси, где уже ничего нет. От помилованных потребуют: отрекитесь! И отрекутся. А вслед приговоренным скажут: вы видели, как много среди них было больных и дурных, преступников и староверов; мы сделали это, чтобы спасти от них мир. И мир согласится: тому и быть, каждый получает то, чего он заслуживает.

Никаких планов на будущее у Ивана не было, и казалось ему, что они и не нужны, что в скором времени предстоит какая-то всеобщая мобилизация, и тогда его судьба решится сама собой. Он стал ловить сообщения о русских добровольцах в Сербии, гордился тем, что научился в фальшивых голосах дикторов распознавать истинный смысл и различать тот особый, пылко-горопливый акцент, в который рядится ложь. Хотелось повидаться с матерью

и намекнуть ей, что за летние месяцы, пока ее не было рядом, у него отросли крылья и чешутся, чтобы испробовать себя в полете. И, конечно, получить в ответ от матери выволочку, он даже представлял, в каких словах, и ежился от них. Но в любом случае материнская выволочка — это уже и совет, если с умом покатасть ее, как горячий, с пылу, с жару, колобок, а потом и скушать.

В бесцельных шатаниях по городу Иван однажды душным вечером обнаружил себя возле военкомата, а полчаса спустя возле расположенной неподалеку областной милиции в новых и тусклых, нашлапистой архитектуры, зданиях. Выходит, цель все-таки была, что-то вело его сюда помимо воли, чтобы заранее знать, куда идти, когда потребуется. Он покрутился поблизости среди старых деревянных домов, по окна закатанных асфальтом, у водокачки поплескал себе в лицо, приободрился, входя в память, и наугад взял в сторону центральной улицы. Вышел к кинотеатру «Пионер», где прежде показывали детские фильмы. Иван захватил еще то благополучие «Пионера», когда тут бывало шумно, чинно и празднично; раза два их со Светкой приводила сюда Евстолия Борисовна, заставлявшая их братья за руки. Он и не помнил, что смотрел тут: стыд оттого, что за одну руку его держала Светка, а за другую бабушка, сильнее врезался в память, чем впечатления от кино. Но теперь, конечно, «Пионеру» каюк. И как это самое невинное существо умудряются превратить в самое порочное, что за мстительный закон тут действует?! Весь город знал, что «Пионер», не поменяв имени, превратился в притон наркоманов и проституток школьного возраста и на дискотеках разыгрывается здесь такое «кино», что только «туши свет» и больше ничего.

Он приостановился возле входа в кинотеатр, облокотившись на клонящийся в уличное машинное кипение тополь, и рассеянно смотрел, как вываливаются из двери и вваливаются в нее такие же, как он, недоросли, но почти все расшатанные, скрюченные, с туманными глазами и резкими вскриками при встречах друг с другом. В скверике по правую сторону кинотеатра они справляли малую нужду, курили и, как с седала, снимали с широкой бетонной лестницы, по которой прежде спускались из зала зрители, гроздьями висящих там девчонок и вихляющей походкой уводили их в чрево «Пионера». Ивана и подмывало пойти вслед за ними, и останавливали брезгливость пополам с осторожностью: там, поди, как в аристократических клубах, чужаков не жалуют.

И вдруг туда же, в это нечистое чрево с визгливой и бухающей дверью, прошествовала группа бритоголовых — крепких, плечистых, уверенно ступающих друг за другом, как боевое подразделение, «накачанных» до того, что с них соскальзывал взгляд. Иван встрепенулся: а эти зачем? — они другого поля ягода, они вместе с теми, кто там, внутри, на одной поляне не растут. Тут же вслед за первой, широко распахнув дверь и, пинками не давая ей закрыться, пошла вторая группа бритоголовых, похожих на инопланетян и отзывающихся на неземное имя — скинхеды. Не раздумывая больше, Иван кинулся за нею.

В вестибюле его оглушила визгливая музыка, доносившаяся из зала, на подоконниках, на полу в обнимку с девчонками и бутылками корчились в дыму и мате то ли человекоподобные, то ли червеподобные... Появление скинхедов, отталкивающих их с прохода ногами, они, привыкшие к любому обращению и пребывающие невесть где, встретили вялыми приветственными взмахами рук. Вместе со второй группой непрошенных гостей Иван попал в зал. Музыка там уже сбилась, взрыдывая трагическими аккордами, исчезая и снова взрываясь, разогнавшаяся пляска половину зала продолжала крутить и подбрасывать, другая половина тянула шеи и выкрикивала ругательства. Один из скинхедов, должно быть, старший, казавшийся огромным, с огромной же, сияющей, как шаровой светильник, бритой головой, завладел на сцене микрофоном и потребовал тишины. Зал в ответ взорвался криками. Но микрофон был сильнее, он перебил бунтующий зал, когда в нем загремела команда.

— Две недели назад, — рубил короткими фразами скинхед, — мы предупреждали вас! Мы предупреждали вас! Чтобы вашими вонючими потрохами здесь не пахло! Чтобы сворачивали этот гадюшник! Чтобы в нашем городе не ползала такая мразь! Мы пришли!

В него полетели бутылки, сразу несколько человек, маленьких и отчаянных, выскочили на сцену. Скинхед, изготовившись для прыжка, издал дикий гортанный вскрик, похожий на боевой клич вождя индейцев, призывающий к бою, с обезьянней ловкостью схватил одного из нападавших, запустил им, как снарядом, в другого и скинулся вниз. И еще одна группа бритоголовых ворвалась в зал, и еще одна... В мгновение оцепили они зал с трех сторон, оставив свободной лишь ту, где двери, и запустили свою широкозахватную косилку на полную мощь, срезая все, что не успевало убежать или уползти. Крик, стон, плач, визг, свист, глухие удары и рывкающие команды, тяжелое дыхание и звон стекла — под эту многоголосую «музыку», звучавшую все равно приятней, чем та, только что оборванная, которая наигрывала здесь праздник, выбивался теперь прощальный марш, и лишь опытный слух мог заподозрить в нем разнотой оркестра. Досталось и замешкавшемуся Ивану: чья-то рука ухватила его сзади за вихры, нагнула голову влево, а справа прилетел такой удар, что Иван присел под ноющую песенку, но тут же вскочил от громкого и протяжного крика: «Мен-ты-ы-ы!» Все бросилось врассыпную. Когда Иван выскочил на улицу, два милиционера за дверью хватили по очереди то космача, то бритоголового, пускали их подзатыльниками еще двоим, орудовавшим возле «воронка», а уж те вталкивали их в фургон. Иван проскользнул мимо, рванул со всех ног по улице вправо и только возле автобусной остановки притормозил, делая равнодушный и ни к чему не причастный вид. Отер ладонью лицо, подвигал челюсть и, убедившись, что она цела, совсем успокоился. Подкатила «маршрутка», и в ней в двух парнях в одинаковых легких шапочках, явно маскировочного назначения, он признал скинхедов из «Пионера». Через две остановки они выходили; Иван выскочил за ними и, окликнув, спросил:

— А меня-то вы за что?

— Что за что? — с нарочитой вялостью отозвался один, белобрысый, ставший сразу, как только снял он шапочку с головы и засунул ее в карман, лупоглазым, с торчащими большими ушами. Второй, не вмешиваясь, отдышал.

— Меня-то за что зацепили? Я с вами туда зашел. Похож я на них?

— А ты и на нас не похож, — сказал белобрысый.

Что верно, то верно — не похож ни на тех, ни на других. И не однажды задумывался Иван: а надо ли на кого-то походить? Или, напротив, ни на кого не надо? В «Пионере» он держал себя нейтралом, оказавшись в этой схватке случайно, но со своей нейтральной полосы был, конечно, на стороне скинхедов: они на свой манер делали то, что должна была делать городская власть, чтобы остановить пложение этой сопливой нечисти. Но власть теперь всего боится и ничего не делает. Не поймешь, кому она служит и на что рассчитывает завтра, если сегодня последние остатки здорового увязить, как в болоте, в невмешательстве. Утром газеты с захлебом назовут скинхедов после этой истории русскими экстремистами и фашистами, снова и снова будут гнусаво каркать, добиваясь, чтобы позволили им расклевать мясо скинхедов до костей... И что же — поганистая «пионерия», захлебывающаяся наркотиками и теряющая человеческий образ, лучше? Так выходит. Это она — будущее России? А ей именно и позволяют быть будущим. Кто-то должен же ее и все подобное ей остановить? Или уж коли пущена жизнь на самотек, то так она и пойдет, пока не придет к конечному результату!

И все же оказаться среди скинхедов Иван не хотел бы... Почему? — он не смог бы внятно объяснить, это было то-то интуитивное и невыговариваемое, не имеющее отношения ни к внешней бравате этих ребят, ни к их действиям. Встречаешь иной раз человека, с которым во всем согласен, который делает тебе добро и оказывает услуги, а подружиться с ним не тянет. Душа не пускает. Сблизился — узнал бы лучше, а не хочешь узнавать лучше. Боишься его нутра, его чужести. Или это всего лишь отговорки, чтобы остаться чистеньким и не мазаться в грязи, подобно той, какая ползала в «Пионере»? И кто-то должен эту грязь вытряхивать и принимать на себя сыплющиеся со всех сторон проклятия! Может, дело только в этом и к бритоголовым стоит получше присмотреться, а не уходить в сторонку с удобным оправданием?

Но и собственное нутро Иван хорошо не знал, и в нем обнаруживались пугающие бездны. Он продолжал бывать на рынке, находя тайное и безрадостное удовольствие в смутном ожидании чего-то, какого-то то ли несчастья, то ли возмездия за всю тайную клоачную жизнь этого муравейника, куда неудержимо втягивало и пороки, и несчастья. А между тем рынок по-прежнему продолжал втягивать в себя и остатки их семьи, становясь судьбой и роком. В начале августа отец наконец расстался со своей «пустопорожней» автобазой, давно не дающей заработка, и вошел в долю с Деминым. Входить в долю на равноправных началах было не с чем, это Демин пожалел отца, придумав арендовать грузовичок, на котором бы Анатолий крутился, подвозя и развозя оптовый товар и для себя, и для связанных каким-то боком с ним мелких магазинчиков вокруг китайского рынка. Анатолий подозревал, что связь эта — через Егорьевну, подругу Демина, но ни ему об этом не было сказано, ни он не спрашивал. В этом мире, куда он был позван, и верно, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Но Егорьевна, яркая, сдобная, белотелая, все больше смахивающая на процветающую купчиху, набирающую обороты, изредка милостиво подъезжала к деминской неказистой лавке и давала Демину наставления. И так совпадало, что после этого и у Демина находились наставления для Анатолия. Не нравилась Анатолию эта карусель, а что же делать? Приняв первую получку, он разбередил сердце: если бы заглядывали к ним такие деньги раньше, можно было уберечь и Светку, и Тамару Ивановну. А тут еще Демин предложил запрячь и Ивана в помощники к отцу на оставшиеся до школы две недели. Тоже приработок на школьную амуницию.

Но этому плану не суждено было сбыться.

Иван, бывший с полчаса за сторожа в деминском ларьке, изнывал от безделья, когда воротившийся Демин, не придавая никакого значения своим словам, сказал:

— Там чего-то казаки опять гуртуются...

Иван тут же распрощался с Деминым. «Казаки гуртуются» — могло означать и мирный заготовительный выход, казак тоже любит сладко поесть, а рынок сейчас, в августе, — скатерть-самобранка со всех концов света. Поспевает к этой поре и свое — из тайги, с огородов, полей, пасек, с полян и пустошек, даже с городских балконов, превращаемых на лето в грядки... Тучные ряды ломаются от изобилия, так и плывут, так и плывут перед глазами полными коробами, бойкие языки зазывают на десятках акцентов, и никакая иная любовь не знает столь нежных слов, как любовь к садовым и огородным чадам, никакое сладострастие не сравнится со вкусом южных плодов, за тысячи и тысячи километров спешивших к тебе, чтобы в юности, свежести и красоте усладить твою целомудренную страсть. Рынок в августе — это за душу берущий гимн земле-роженице и человеческому кропотливому и неустанному пособию ей в вынашивании плодов, это песнь величию и чистоте человеческих рук и душ, тянущихся друг к другу, чтобы ни у кого ни в чем не было недостатка. А если навеется кому в голову случайная и кислая, точно в недозрелом плоду, мысль: как же, мол, при таком изобилии процветает такая бедность? — гоните ее прочь. От одной картины этого великого благополучия можно насытиться и усладиться с лихвой всем, кому только захочется. Рынок в августе — это такая же демонстрация нашей непобедимости, как военный парад в красные дни национального торжества; это такой же фейерверк рассыпающихся на гирлянды разноцветных огней, как праздничный салют.

Вполне могли казаки гуртоваться, чтобы полюбоваться на это дивное, редко когда выпадающее зрелище, к которому не может быть равнодушен никакой человек. А могли явиться и с взыском, такое тоже бывало.

Так оно и вышло в этот раз. И вовлекло в свою бучу Ивана. Потом город, не соглашаясь с газетами, говорил, что казаки пришли, чтобы взять и сдать в милицию не то азербайджанца, не то чеченца, который в определенный час отрывался от прилавка с фруктами и спускался в общественный туалет, где вручал «агентуре» для распространения «взятки», порции наркотика. Среди тех, кто потом этими дарами пользовался, оказался и сын казака. Казаки умеют снимать показания, и сын показал на снабжавшего его зельем, а тому пришлось показывать на «источник». Казаки явились вшестером, но о мере наказания

заранее не договорились и еще при подходе громко обсуждали, сдать им чеченца или азербайджанца в милицию сразу или прежде публично тут же, на рынке, выпороть, а уж потом сдать. Чеченец или азербайджанец успел скрыться. Разъяренные казаки с криком набросились на его друзей кавказцев, те ответили издевательским гвалтом — слово за слово, угроза за угрозу, казаки были дурнее, кавказцы злее и наглей; казаков взбесило еще и то, что кавказцев в минуту набралось втрое-вчетверо больше, чем их; казачья честь оказалась в опасности. И — взорвалось! С переполненных, густо усыпанных горками, рдеющих и переливающихся всеми цветами радуги, рядов полетело на землю, рассыпалось, захрустело под ногами; загремели сброшенные орудия торговли, заголосили бабы, вмиг наскочила беспризорная ребятня. Казаки рывками двигались друг за другом вдоль рядов и с ревом сметали с них все до полного опустошения. Иван и сам не помнил, как он оказался рядом, — и тоже с криком и неистовством переворачивал, сталкивал, отпихивал, орудуя руками и ногами, надвигаясь и отступая, как в ритуальной пляске. Потом сцепились и бешеным орущим клубком принялись дергаться и кататься из стороны в сторону. Кавказцы одолевали: одного казака распяли на асфальте и всаживали в него пинки; другой, оглушенный чем-то тяжелым, сидел на земле и мотал головой. Только один мужичонка из местных и подскочил на помощь; маленький, юркий, с подпрыгивающей, как мячик, лысой головой, он взмахивал короткими руками так удачно, что успел вызволить из кавказского плена двоих казаков, прежде чем согнулся от тяжелого пинка. Пинали и Ивана, пинал и он... Кавказец с оскаленными зубами кинулся на него — Иван, отступая, споткнулся о чье-то распластанное тело, упал, успел кувырком откатиться, вскочить и локтем садануть в подвернувшийся тугой живот, пробив его до утробного всхлипа. Потом кто-то схватил его сзади за шею и сильно сдавил; он чуть не потерял сознание. Его встряхнули и развернули — перед Иваном громоздился милиционер и наяривал в свой свисток. Одной рукой милиционер держал Ивана, другой норовил сграбастать прыгающего рядом казака. И тут Иван рванулся, оторвался и сиганул в распахнутую дверь крытого рынка, в его густое многолюдье. Но когда он, потолкавшись в нем минут десять и переведа дух, собрался выйти в улицу с противоположной стороны, там, в отдалении, чтобы обозреть сразу все три выхода с рынка, зыркнул на них в боевой стойке все тот же милиционер.

После этого Иван решил перебраться на дачу и до школы не появляться в городе. Тем более что дело о нападении на кавказцев, как и следовало ожидать, уже было заведено. Правосудие вовсю шустило, чтобы угодить газетам. Хватит приключений. Да и привести в порядок разбитое лицо, с впечатанным под левый глаз радужным синяком и разорванной губой, тоже лучше всего было там, в одиночестве и раздумьях, что же это происходит и с ним, и вокруг него.

Но недолго он и предавался размышлениям, хорошо или плохо это было, что он ввязался в драку, недолго и мучился совестью. Ввязался — потому что покусывало, саднило внутри болью от бездействия и безволия, требовало хорошей встряски. Вот она и подвернулась. Что дальше — видно будет. Пойдет в школу — невольно отступит опять в возраст и положение недоросля, примет полагающиеся правила, из которых он вырос, и надо будет почти год ежиться в них, пока не выйдет на полную свободу.

А пока... пока дни за днями проходили у Ивана в приятном и каком-то приподнятом, сытящем его безделье. Никто не мешал ему, не командовал и не направлял, и не было у него, казалось, даже перед собой никаких обязанностей. Соседи справа уезжали в эту пору на своем катере на Байкал, а соседи слева за густо разросшимися кустами малины были не слышны и не видны. Грядки без матери запущены были с весны, но в густой и сопревшей, лежавшей мочалкой, траве сидела крепкая морковка, за дровяником среди хлама расплзлись по сторонам и ровно горели глянцевым золотистым светом кабачки, под неокученной и тонкой, казавшейся дикой, картофельной ботвой прятались изрядные клубни. И теплой печалью ложилось на сердце: забросили посадки, а они сумели сами постоять за себя и взять у набросившегося на них беспрепятственно полчища сорняков и корм, и влагу, и солнце. На ягодных кустах и сквозь дубраву крапивы и осота чернела и краснела смородина, багровел

полосатый крыжовник... и все это в тихие и солнечные дни сидело смиренно и терпеливо, приготавливаясь опасть вместе с листом и уже опадая... Иван ленился готовить себе обеды и по часу-полтора пасся в ягоднике, грыз морковку, а вечерами, вполне сытый и умиротворенный, окунался в печаль уходящего лета. И расслабленно и приятно ощущал, как она, эта печаль, чуть колеблющимся, чуть волнующимся дыханием вплетается в его дыхание. Это было внове, и Иван затаенно прислушивался к себе. До того он знал два состояния погоды — плохая и хорошая, удобная и неудобная для прогулок, а оказалось, что выпадают часы и дни, благоприятные для созревания глубинных чувств и пронизательности: смотришь и видишь скрытое, неразличимое в другое время, чувствуешь, как открываются в тебе какие-то поры и сладкая мука жизни вливается в них и начинает щемить сердце. В тысячный и тысячный раз смотрел он в обращенный к Байкалу раствор ангарской мощной струи, то темной, то голубой, то серой, то гладкой, то бьющейся в волнах, но впервые, заскользив по ней все быстрее и быстрее, он вдруг поднялся в высоту и с восторгом, паря, как птица, разом охватил и впустил в себя все далеко живущее вокруг по обоим берегам реки. Для чего-то попевал он неведомого, какие-то пробивались в нем новые чувственные струи. И так приятно, так сладко было обмирать, внимая этому новому дыханию, которое, казалось, навеивалось со стороны!

Из невольной вины перед заброшенным, еще совсем недавно казавшимся таким сильным, увлечением он взял с собой из дому на всякий случай книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. И на всякий же случай из того же чувства вины на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь испугнуть: л е п о т а, в е л ь м и, в е р е я, ч р е с л а, н а в е т, з л а т о з а р н ы й, с в е т о с и я н н ы й... и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: м а м а, л ю б л ю, д о р о г о й, с п а с и б о, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы, нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении. «Душу мою озари сияньми невечерними», — пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.

Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться, еще легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на милость исчужа заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издавека-далеко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным завромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приговаривая такие речи, лучше которых нигде не сыскать и, как напитать душу ребенка добром и как утешить старость в усталости и печали — когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанных родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно — и все

остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы.

До конца недели все так же простояло в полусолнце, в полудреме, было тепло и тихо и все так же располагало к тому, чтобы заглядывать в себя и искать перемен. Но хотелось уже и движения. Поднимаясь от залива с ведром воды, наткнулся Иван взглядом на лодку на каменишнике, второе лето ни вперед, ни назад, ни на яр, ни в воду, и захотелось ему столкнуть ее и поплавать. Теперь все на мощных моторах, на водных мотоциклах, на яхтах, рев по вечерам среди лета стоит такой, что хоть убегай, а взять бы да потихоньку, почмокивая веслами и прихлебывая ладонью из-за борта, тянуться и тянуться куда-нибудь на противоположный берег, безлюдный и сухой, с уютными каменистыми лагунами. Захотелось и захотелось до безудержу — скатил Иван лодку в воду, а из всех щелей фонтанчики. Они еще больше раззадорили. И полдня конопатил он донельзя разохшуюся лодку, вгонял долотом паклю в дыры, на ряд накладывая ряд и закрепляя клейкой лентой. Заварить было нечем; прошелся по швам старой краской — вроде держит. Вытесал из сухой доски что-то похожее на одноручное весло, подхватил котелок, чтобы вычерпывать воду, и оттолкнулся.

Но и правда хорошо было на том берегу: вода теплая, берег чистый, спускается к нему от поляны с березками выстеленная ковровой дорожкой мурава, близко заливается кукушка... до того близко, что слышно, как после каждого «ку-ку» сглатывает она воздух. Иван лег в воду, положив голову на белый камень-валун, слушал в полудреме, не веря кукушке, но и подбадривая ее: давай-давай — пригодится. Нежными вздохами плескала вода, с берега тянул запашистый зной, белесое, томное небо висело в такой недвижности, словно остановилось время.

Обратно Иван перегребал часа полтора. Не столько греб, сколько вычерпывал: залитая водой лодка угрузла и подвигалась плохо. Вся его работа, размокнув, пошла насмарку: краска отстала вместе с лентой, пакля тянулась за лодкой бородой. На быстрине лодку снесло далеко вниз, и, выгребая, Иван с непривычки натер на ладонях волдыри.

На берегу его поджидал мужик — с брюшком, с лысиной, с разгоряченным одутловатым лицом; не часто бывая на даче, Иван не знал его. В руках мужик держал камень, поигрывая им, нервно перебирая, чтобы камень был виден.

— Ты! Подонок! — завопил он, едва лодка заскреблась о берег. — Ты что, подонок, себя позволяешь?! Тебе жить надоело! Насобачился угонять!

Иван растерялся, стал оправдываться:

— Да я прокатиться только... Она же стояла тут никуда не годная... Я проконопатил ее...

— Я тебе счас проконопачу!..

Он шагнул вперед, Иван спрыгнул в воду и, быстро нагнувшись, выхватил из-под ног камень, который был поувесистей, чем у мужика. С минуту они стояли друг против друга в молчании.

— Ты! — в тон мужику, стараясь быть спокойным, сказал потом Иван. — Ты слышал... — он не сомневался, что в их небольшом поселке об этом слышали все. — Слышал ты, что недавно одна женщина прямо в прокуратуре пристрелила... — пришлось поискать слово. — Пристрелила такого же налетчика, как ты! Это моя мать.

— Щенок! — завопил мужик. — Ты еще пугать меня!..

— Этот щенок тоже умеет кусаться больно.

И, отбросив камень, Иван нарочито близко, едва не задевая, прошел мимо мужика и поднялся на яр.

Через час, остывнув, он вышел взглянуть: мужик и не подумал вытаскивать свою лодку — так она была ему нужна! Ивану удалось перевернуться ее в воде и с кормы, поддевая из стороны в сторону, юзом втолкнуть нос на сухое, а уж потом полностью вытащить лодку на берег. Только установив ее в ту же самую канавку, в которую она была погружена, Иван окончательно успокоился. И решил: все, хватит прятаться, пора возвращаться в город и искать настоящего дела. Ему хотелось поправить себя: не просто дела, а деятельности... Но нет, на такое замахиваться рано, руки короткие. Достаточно неслучайного полезного дела.

Надо найти людей, умеющих извлекать корень квадратный из всех нагромождений и конструкций, в которые превращены поиски родного.

Суд над Тамарой Ивановной состоялся в середине сентября, через три с половиной месяца после возбуждения уголовного дела. Защитника пришлось все-таки взять, на этом настоял Демин, он же выложил деньги. Но лучше бы его и не брать. Тамаре Ивановне он не понравился сразу: с большим лбом, глазами навывкате, пухлыми щеками и маленьким острым подбородком; слова катятся, как горошины под уклон, понимать трудно. На суде он взялся наводить тень на плетень, зачастив о невменяемости подсудимой во время совершения преступления, и Тамара Ивановна, не дожидаясь, когда ей дадут слово, выкрикнула, что это неправда: какая могла быть невменяемость, если она загодя готовилась... Тогда, заглядывая в судебно-психологическую экспертизу, защитник заговорил столь мудреными словами, что никому из простых смертных понять их было не дано.

Обвиняемая полностью признавала себя виновной, представителей потерпевшего на суде не оказалось, преступление было совершено без отягчающих обстоятельств, мотивы преступления очевидны — суд от начала до конца прошел спокойно, даже залу, человек в сорок-пятьдесят, собравшемуся для поддержки Тамары Ивановны, не пришлось выплескивать заготовленные эмоции. Прокурор не гремел обличениями, как кандалами, судья вздыхал и когда выслушивал других, и когда сам говорил, у адвоката красноречие было невнятным, да оно и не требовалось, у зала не было причин для шума и волнения. Все словно чувствовали себя виноватыми и прятались за процедуру суда, необъяснимая тяжесть висела в воздухе. Через три с половиной часа после начала заседания объявили приговор: шесть лет содержания под стражей. Тамара Ивановна приняла приговор не вздрогнув, родные были в растерянности, не понимая, много это или мало. Дали Тамаре Ивановне последнее слово, и она сказала:

— Виновата — буду ответ держать. Сделанного не воротишь. А я и не жалею о сделанном. Теперь мне каторга шесть лет, а если бы насильник ушел безнаказанным, — твердо подчеркнула она, — для меня бы и воля на всю жизнь сделалась каторгой... — Она еще не знала или не хотела говорить, что не миновать ей этой пожизненной каторги под спросом совести и теперь... — Подавать кассацию не буду. Что заслужила — все мое.

Судья вздохнул еще громче и протяжней и не стал препятствовать, когда родные окружили осужденную и Светка прильнула к ее груди. Тамара Ивановна и тут держала себя твердо, обняла Светку, потом Ивана; охранник заторопил ее, и мужу с отцом она только кивнула и ушла не оборачиваясь. Зал стоя устроил ей овацию.

Перевели Тамару Ивановну в женскую колонию в девяноста километрах от города, стала она там шить телогрейки.

Светка все реже заходила домой, только чтобы взять остававшиеся здесь вещички, и двигалась по квартире медленно и настороженно, точно чего-то боялась или никак не могла вспомнить, что ей тут еще надо. К Ивану не обращалась иначе, как Иванка-философ, песенно и фальшиво протягивая эти слова, за которыми обычно больше ничего и не следовало. Наткнется на Ивана, пропоет, узнавая, и отходит; но и он тоже отделялся шутками.

«Она твоя сестра, она твоя несчастная сестра, поговори с нею», — внушал он себе. Но о чем, о чем? Успокоить ее он бы не сумел, да и обидела бы Светку жалость; говорить ей, как он говорил себе, что необходимо создавать из себя крепкий орешек, чтобы устоять перед безжалостными жерновами жизни, было некстати. И оба они, чувствуя кровное тяготение друг к другу, но, не умея сблизиться, чувствовали и невольное облегчение, когда расходились.

Отец, став зарабатывать, совал им деньги; Светка безучастно брала, Иван у отца на глазах засовывал их в шкатулку на шкафу для общего пользования. Демин смотрел-смотрел однажды на Ивана, вылезшего из всех отверстий своего старенького пиджака, и окликнул

Анатолия: «Ты посмотри, отец, ты все его за цыпленка держишь, а он уж в петуха вымахал. Ты посмотри: ему в этой поддевке и пула не спрятать». И верно, Иван только за последние месяцы без матери вымахал так, что не наахаешься, а взглянуть на себя не умел, этим всегда занималась мать.

В школу он ходил без удовольствия, там были одновременно и каторга, и карнавал с переодеванием, к прошлогодним новациям добавились свежие, каждый день по семь-восемь уроков, а на русский язык час в неделю, на отечественную историю тоже час, второй час отдали журналистике. Три программы на шее — общероссийская, местная и особо своя, школьная, с набором факультативов, все решительней занимающих главное место. Превращалась школа в старую клячу, неспособную тянуть телегу со всеми, кто в нее понавскакивал. А упадет она от бессилия, эта кляча, и добьют, исколят своими острыми указками расплодившиеся «культурологи» и потребуют огонь-скакуна, у которого бы искры летели из-под копыт, когда помчит он по безбрежным мировым нивам.

Порой от всего-всего, и от домашнего, и от школьного, так становилось тошно, что хоть сбегай куда глаза глядят. Но школу дотянуть надо, а там... Там был какой-то обрыв, в скрытых глубинах которого ничего не разглядеть. В университет он не пойдет, там сейчас не рассветная пора, раскрывающая глаза на мир, а барахолка, ярмарка тщеславия и вкусов. В настоящий университет не попасть, их немного совсем и осталось, настоящих-то, а эти, самозваные и скороспелые, блистающие наготой... чур-чур от них! От армии он прятаться не станет, а год до армии... не потерять бы только и этот год, прожить его с пользой, выстроить ступеньку, на которую потом можно опереться. Да, придется быть «упертым», иначе нельзя. Иван все же изредка пробовал размышлять, где, на какой стезе лучше всего было бы «упереться и не даваться». Да везде, везде это потребуется, везде зашаталось и сквозит, задувает. Вот хоть школа... он бы, пожалуй, мог пойти в педагогический, чтобы учить потом ребятишек русскому языку... у него бы, пожалуй, получилось. Ну-у, нет! И не тетрадки его пугали, с тетрадками он бы как-нибудь справился, привык... Но уже всюду шли у них в школе разговоры о реформе русского языка, которая позволит писать так, как слышится и избавиться от вековых норм правописания; уже открыто в присутствии учеников заявляли учителя-словесники, что реформа эта убьет окончательно грамотность; уже появились в школе дразнилки: «ты карова через «а», ты заиц через «и» и уже произвольно, как атмосферное давление перед переменной погоды, падало усердие и учителей, и учеников. И получалось, что еще и не объявленная, еще и не вступившая в свои права реформа свое дело делала. А что будет, когда ее запустят?

В середине октября холодным вечером в конце недели позвонил Иван Савельевич и, услышав, что Анатолия нет, побряхтывая болезненно в трубку, сказал Ивану:

— Приехал бы ты ко мне, парень... Я тут принимаю... у меня тут трын-трава...

«Трын-трава» — значит что-то неладное. В субботу, после школы, Иван поехал. Иван Савельевич был на ногах, но глаза впавшие, полумертвые, плечи обвисшие, ноги в валенках, в избе не протоплено. Он не стал тянуть, рассказал:

— Николай потерялся. Боле двух недель нету. Об эту пору такое не должно быть. Там, в тайге-то, поди, уж снег лег. Там и брать теперь нечего.

— Искать, наверно, надо... — что мог еще сказать Иван?

— Позавчера двое охотников ушли, вчера воротились. Никаких следов. Где его логовище было — никто не знал. Где искать — неведомо. Пытал не раз: «Где ходишь?» — «Везде по дороге на Косую степь, и по левому хребту, и по правому». А я там не бывал, мне тутошняя тайга чужая. Шоферов хожу прошу: поглядите. А далеко ли они наглядят?..

И поднялся, взялся растапливать печку, загремел чайником. Низкое закатное солнце, побледневшее и сжавшееся, смотрело прямо в окно, жиденьким пятном лежало на беленом боку печки и зябко подрагивало от набирающегося тепла. Почувял тепло и подросший котенок, вспрыгнул из комнаты, которая летом была девичьей, и, оттягивая по очереди то левую заднюю лапу, то правую, морщась и зевая, смотрел на Ивана.

— Подрос, — сказал о котенке Иван Савельевич и с горечью добавил: — Летом для

девчонок забава была, теперь на мое попечение перешел. Кобель да котенок — вот и вся живность, все крестьянское хозяйство. Молодок я своих прикончил, поросенка не стал больше заводить. Картошку-то почему не берете? — вспомнил он. — Полное подполье картошки. Мне одному она невпроед, сгною добро. Картошка нонче хорошая... у матери твоей рука легкая, это она садила. Я, как знал, остерегал: куда столько? «Все подберем, — говорила, — зима долгая». А теперь уж и зима подступила, и ни одной картофелинки не взяли...

— Увезу завтра сумку, — пообещал Иван.

— А летом как хорошо было: и Дуся со мной, и Светка. Больно смотреть на них, что на ту, что на другую, а рядом — и теплой, и все одно обнадежа, глаза смотрят вперед, а не позадь себя... — Откашлявшись, Иван Савельевич не удержал свою боль, спросил: — Что ж это, парень нас так бьет-то? Раз за разом, раз за разом.

Иван промолчал.

— Если не сыщется Николай — да ведь это же что?! Это же хуже некуда.

— Не хорони раньше времени...

— Да я похоронить-то рад бы! Я не похоронить боюсь! — выкрикнул Иван Савельевич и оборвал себя, затих и поднялся найти табак. Когда воротился, жадно хватая дым, Иван предложил:

— Давай я схожу папе позвонить, чтоб он не терял меня. А сам останусь. Завтра воскресенье, завтра можно поехать поискать.

— Чего мы с тобой найдем... в незнакомой-то тайге... — не сразу отозвался Иван Савельевич. — Я так и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю. Нет, надо мужиков нанимать с вездеходом. Завтрашний день еще подожду, вдруг да солнышко для меня в остатный раз выглянет... А ты ночуй. Ночуй, парень. Вот только электричеством я тебе посветить не смогу, не бывает у нас электричества. А керосинка есть. Не пропадем.

Легли рано, Иван в девичьей, Иван Савельевич в прихожей на своей деревянной кровати с высокой гнутой спинкой. Оставили на столе лампу с подвернутым фитилем, на всю избу стоял крепкий запах горелого керосина, круглое световое пятно на потолке, как бабочка, дрожало, билось, внизу висела полутьма.

— Дедушка! — окликнул Иван. — А разве дядя Николай не с собакой ушел?

— Он с собакой ушел, а дня через два она прибежала обратно. Это не впервой, это бывало и раньше. У нас беспутный кобель, любит бегать неведомо где. А он бы и путный... в тайге собака любит при деле быть. А ежели хозяин без ружья, на лай не идет — никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит.

— А потом может обратно прибежать?

— Может прибежать, а может и не прибежать. Наш кобель приповадил к бродячей жизни, он на цепь идет, только уж когда совсем оголодает.

— Мне послышалось, будто с заплота кто спрыгнул...

— Ну-ка... — Иван Савельевич быстро поднялся и, не одеваясь, вышел, послышался его зовущий голос: — Буран! Буран! — тишина, снова голос, надтреснутый, «осколочно-фугасный», как он сам говорил, и снова долго ни звука. Вернулся со вздохом:

— Нет, нету. Почудилось. Спи, парень, в деревне тебе должно хорошо спаться. Власть.

Сам же позвал спустя десять минут:

— Спишь, парень?

— Нет.

— А ведь мы с тобой впервой в одних стенах ночуем. Я вспоминал-вспоминал: тебя и маленького на ночь не оставляли. Это неладно. — Иван Савельевич опять поднялся, босыми ногами, ступая на них бочком, подковылял к столу, со чмоком, втягивая воздух, прикурил от лампы. И пожаловался: — Тяжелы для стариков ночи, ох, тяжелы. Хужей любой работы. Я подумал сейчас... а ведь у меня здесь и сын мой старший, твой старший дядя, дядя Вася, за пятнадцать лет один только раз побывал, три ночи ночевал. Да и то — на похороны... мать

хоронили. Ладно это? Писульками отделяется. Два раза на году, под Новый год и под День Победы шлет горячие поздравления. И на том, конечно, спасибо, да ведь это что же? Это кровь замолчала. Прописал ему слезами про мать твою, а он: жалко сестру. Да разве это жалко — печатными буквами отозваться, что жалко? Вот, Иван! Скажи ты мне на свой молодой ум... скажи, отчего это у нас в народе кровь такая молчаливая... такая вялая на родство? Будто и родных нет, а все троюродные да сводные. Или это неправда?

— Не знаю, — смешался Иван. — Не думал. По-моему, неправда. Вон мама... И мы с тобой...

— Однако, и правда, и неправда, — вздыхая, сказал Иван Петрович. — И то, и другое, однако... Я на всякое насмотрелся. У нас и внутри нас идет нешуточная перетяга: кто победит. А вот кто победит — сын мой старший, который мне горячие приветы шлет, или дочь моя, у которой кровь вскипела, когда ее дитя обидели? А в результате — второй мой сын, Николай... Где вот он? Эх, Колька, Колька, бедовая ты голова!

Иван Савельевич со всхлипом вздохнул и добавил:

— А разобраться если — все трое бедовые головушки! Никому не позавидуешь. А Николай бедовее всех. Неглупой был парень, добрый, а где доброта там и слабость.

Чадила лампа, стекло покрывалось копотью, еще сильнее пахло керосином, болезненные пятна слабо порхали по стенам. Иван Савельевич несколько раз порывался задуть лампу, но останавливала опаска: как же совсем без огонька, как же не посветить надежде, которая, быть может, пытается найти к ним дорогу? Иван задремывал и, лежа на спине, сам себя слышал, как он пускает всхрапывающую фистулу, обрывал ее, поворачивался на бок, но в это время раздавался шлеп собачьих лап о землю. Казалось, кобель спрыгивал раз за разом, чтобы обратить на себя внимание; Иван ждал: вот сейчас раздастся лай, вот сейчас... Нет, было по-прежнему тихо. Луна вышла поздняя, неяркая, и только тогда с шепотливым бормотаньем и задул Иван Савельевич лампу, выругался от фукнувшей в нос керосиновой гари, постоял перед окном, в котором в знобком оцепенении лежала ограда, и торопливой рукой перекрестился.

Погода повернула на зиму рано, еще не сошел октябрь. Задул пронизывающий ветер, какой-то бешеный, продирающий каждую улицу, как при уборке, вперед-назад, понесло мелким колючим снегом, на полнедели упали сумерки. И Анатолий, долго державшийся на пределе терпения, — будто в пропасть скатился: вконец опустили руки, сдавила жестокая хандра, когда ни-че-го не надо. И себя не надо, так бы ухватил себя и с размаху об угол, чтоб дух вон. Но духа-то уже и не было, превратился в мешок. Везде пустота с холодным сквозным ветром, везде невыносимая горечь, забивающая дыхание... Он позвонил Демину, теперешнему своему начальнику, и сказал, что на работу не выйдет, нет мочи. Тот загоготал: «Нет мочи — чем помочи?» — «Не трогай ты меня дня два-три, — попросил Анатолий. — Оклемаюсь — сам приду. Чего-то увял». Демин принялся объяснять, что в его годы таких болезней не бывает, надо взять себя в руки, но Анатолий не стал слушать и положил трубку. Может, и верно, что ни у кого больше не бывает, а у него бывает. И еще тошней стало Анатолию. Он лежал пластом на диване в прихожей, поближе к двери, и время от времени громко отдыхивался, пытаясь вытиснуть пустоту. Прибежал из школы Иван и не нашел ничего лучшего, как напевать с приплясом: «Я те рожу растворожу, зубы на зубы помножу!»

— Чего это ты? — взмолился Анатолий. — Совсем очумел?

— Но ты вникни, папа, как сказано! — Иван с карканьем пропел еще раз. — Какая поэзия даже в угрозе! И это не из книжки, я это на улице, в нашей буче кипучей, услышал. Или вот еще: «Господи, прости, в чужую клеть вступи, помоги нагрести да и вынести!» Это же надо так выразиться! Целая философия в трех словах!

— О-о-о! — застонал Анатолий и по-стариковски, шаркая тапочками, заковылял в спальню, осторожно, как в могилу, опустился в постель.

А ведь эта черная немочь, это бессилие подготавливались в нем давно. Еще в ту майскую ночь, когда они с Тамарой Ивановной везли в трамвае Светку на экспертизу, в ночь, которая громоздким и унижительным памятником закаменела в его сердце, почувствовал Анатолий от предельной натуги в себе какой-то обрыв, что-то лопнуло внутри, послышался словно бы всхлип и жаром обдало нутро. Потом это повторялось — и когда дал ему следователь прочитать показания дочери, и когда там же, в кабинете Цоколя, услышал он, на какую расправу решилась Тамара Ивановна, и еще несколько раз позже, казалось бы, совсем ни с чего, от одного лишь неосторожного движения — будто раз за разом из какого-то поврежденного пузыря под давлением выходил в нем с этим самым всхлипом дух. Выходил, выходил — и вот весь вышел. Стало пусто и гулко: ветер, задувающий на улице, задувает и там, в его полости, боль, как желчь, разлилась и все собою загорчила, а в сердце тычутся иголки, пробующие, живо оно или нет. Только на приглушенные стоны и хватало сил; Анатолий сознавал, что он мог бы и не стонать, что это стонет в нем жалость к себе, но и она, жалость, была жизнью, за которую он хватался, и она давала видимость облегчения.

Он промаялся так весь день, не выходя на улицу и с отвращением выглядывая в окно на серый, треплемый ветром, свет. Все одно и то же, одно и то же — когда это кончится? Ночью лежал в страхе: надо бы хоть ненадолго забыться, а забыться не получалось, а, значит, еще больше изнемогал. И опять смотрел с кровати на бьющийся в окно липкий снег, рвущийся, казалось к нему, чтобы окончательно застудить сердце, на раскачиваемые голые и черные деревья, до жути уродливые, с обрезанными верхушками и мертво растопыренными ветками. И опять темнота, вечерняя или ночная, — не хотелось и узнавать. Иван появлялся и исчезал, поняв, что с отцом неладно, с тревогой всматривался в него, лежащего, спрашивал, не надо ли лекарств, напоминал о еде. Анатолий молча отмахивался, боясь показать слабый, ставший писклявым, голос, но внимание сына было приятно. Приходила в голову несусветная глупость: вот если бы ворвался сейчас с невиданным буйством ветер и выкинул его в окно — ведь пришлось бы, хочешь не хочешь, есть силы или нет, а подниматься на ноги и искать спасения... пришлось бы, пришлось! И, кляня себя, Анатолий поднялся, вспомнил о «санитарной» склянке спирта в шкафу, тяготясь лишним движением, из склянки же и сглотнул, потом еще раз, задохнулся, закашлялся и осел на стул с молниями в глазах, с решительным ожиданием худшего.

После этого уснул.

Разбудил его громкий стук и голоса за дверью. Пришел Демин, рядом с ним торчало улыбающееся низкорослое чучело в зимнем бушлате, разрисованном разводьями отнюдь не фабричного происхождения, в черной вязаной шапочке и легких летних туфлях, обросшее пегой шерстью, с большим, оттягивающим руку, пакетом, разрисованном похожей же рожей.

— Посмотри, кого я тебе привел! — загудел Демин, проталкивая вперед чучело. — Не узнаешь нашего друга-товарища?

Анатолий, взглядевшись, узнал: это был старик из общежития для малосемейных, в комнатке которого сначала побывала Светка, а потом и они с Тамарой Ивановной.

— А это еще зачем? — обрадоваться появлению такого гостя было невозможно. Анатолий смотрел на него с отвращением.

— А он, понимаешь ли... — Демин, никогда не чувствовавший себя виноватым, заговорил витиевато. — Он тут у вас, понимаешь ли, золотодобычу ведет. Иду я мимо, а он рожу на меня... На роже написано: нашел! Довольная-предовольная. Не хочешь, да позавидуешь.

— Не пойму.

— Контейнеры тут у вас во дворе шурудит. Санитар-приискатель. Самородки выуживает. И неплохо живет. Посмотри ты на него. Очень даже неплохо.

— Удружили...

— Ну, а как было не показать его... Посмотрим. Или шкуру с него сдерем, или пятки поджарим, или еще чего придумаем. Нельзя же было упускать такую личность.

Старик, склонив голову набок, на правое плечо, лаская мехом воротника щеку,

продолжал счастливо щериться. Это была и не улыбка, и не оскал, а какой-то странный зигзаг на лице, какой-то невинно-порочный, отталкивающий и одновременно притягивающий, перекосивший лицо так, что одна его половина имела страдальчески-беззащитное выражение, как бы говорившее, что человек этот еще не окончательно погиб, а на другой, дергающейся, торжествовал, ухмыляясь и подмигивая, порок.

— Из общежития поперли тебя? — спросил Анатолий с мукой: вот и ворвался в его укрытие буйный ветер, вот и выбросил его в улицу, где потребуются силы вдесятеро больше того, что у него осталось.

— Поперли.

— Правильно сделали. Тебя гнать мало, тебя на березе надо вздернуть.

Старик принял полную покорность судьбе и сказал, прищамкивая:

— А я тут рядом живу.

— Квартиру купил?

Старик хохотнул и оставил рот открытым. Анатолий содрогнулся: за те три или четыре месяца, что они не виделись, старик, как семечки, выщелкал остатки своих зубов, только по углам рта торчали развалины двух клыков. «А ведь ему все нипочем, — с завистью подумал Анатолий. — Ни угрызений, ни уныния, ни заботы о завтрашнем дне — ничего.. Что же это — бесстрашие теперь такое перед сломной жизнью, инстинкт самосохранения или слепое и глухое вырождение без всякого чувства вины и жалости к себе? Нет, что это такое? Когда бы не он — не случилось бы, наверное, случившегося со Светкой, не случилось бы потом с Тamarой Ивановной... А он стоит теперь как ни в чем не бывало и лыбится, встрече рад, друг-товарищ...

— Демин, — попросил с последней мукой Анатолий, — убери ты эту образину отсюда. Убери, не могу я его видеть. Я всерьез говорю. Не могу.

А через полчаса сидели втроем за кухонным столом и пили чай. К чаю стояла опорожненная наполовину, доставленная Деминым для оживления Анатолия, бутылка коньяка. Демин, размахивая руками, вскакивая и усаживаясь, недовольно озирая тесную кухню, разглагольствовал, обращаясь к старику:

— Ты, конечно, тварь, букашка-козявка, но ты загадка. Тебя это... препарировать надо и заспиртовать... — Старик согласно кивал головой. — Чтобы и через сто лет люди смотрели и морщились: экая бесстыжая бестия! Чтобы до тебя доразвиваться, чтобы, значит, тобой оказаться, такой рожей, как ты, человеку требуется целая историческая эпоха. А ты... вот он ты, как тут и был. А ведь мы тебя так скоро и не ждали... Не подготовились.

Старик слушал, усмехаясь, кивая, поглядывая на недопитый коньяк. Демин заставил его помыть голову в трех водах и в пяти водах с хозяйственным мылом лицо, и старик преобразился, на голове обнаружили желтые седые волосы, будто он их чем-то, какой-то гадостью, травил да недотравил, а на лице за желтыми же зарослями зарумянилась надраенная кожа. Рвань из нескольких рубах валялась у порога, старику был выдан черный, тоже повидавший виды, с дырами в подмышках, свитер Анатолия. Натянув свитер на себя, старик все пробовал его на ощупь, удивляясь первозданной мягкости материи. Он уже успел рассказать, что поселился на соседней улице в подвале; в подвале этом еще недавно размещалась подсобка для слесарей и маляров, но ее под запал общей борьбы со старыми службами ликвидировали, а подвал заперли на висячий замок. Что ж туда не попасть! — всего-то сдвинуть решетку над ямой, в которую выходит подвальное окно, и выставить в окне стеклину. Влез, а там тепло, остались старые шкафы из-под инструмента, даже кой-какой инструмент остался, стол и лавка. И полным-полно коробок и ящиков, из них не одна лежанка может получиться. Чего еще и желать?! Казенный замок он сбил, навесил свой и заходит теперь, как все добрые люди, в дверь. Попервости побаивался, ждал темноты, чтобы нырнуть в свое логово, но скоро понял, что никому ни до него, ни до подвала дела нет, каждый уткнулся в себя и свое. И стал спокойно входить и выходить среди бела дня. Теперь телевизор ищет, старые телевизоры на свалке не в редкость, надо только с утра пораньше

делать обход. Хорошие вещи днем стесняются выбрасывать — выбрасывают в темноте.

— Да-а, — выслушав старика, — крикнул Демин. — Ловок же ты: своего нет, а чужое не упусти. Приватизация по-бродяжьи. Вот и спасись мы: сверху гребут и снизу тянут. — Демин не интересовало прошлое старика, он говорил с ним только в настоящем времени, и Анатолий с безразличием подумал, что это ведь теперь со всеми так: будто и не было прошлого, будто только-только соскочили с какого-то огромного транспорта, доставившего их на необитаемую землю, где не водилось ни законов, ни обычаев, ни святынь, и, расталкивая друг друга, бросились занимать места. В спешке и брани расхватили, что получше, а на всех не хватило, теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до них... И принялись скорей изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому навсегда и быть. Кто остался на бобах, те среди себя пусть устраивают иерархию на пустом месте низших над более низшими и над совсем низшими... И так быстро это размещение и разделение на высших и низших устроилось, что только разевай рот, как рыба на берегу, и хватай обжигающий воздух.

Демин разливал коньяк, подогревал за хозяина чай, а у Анатолия опять все поплыло-поплыло перед глазами и замутилось в песочном мельтешенье. Мохнатое лицо старика то приближалось вплотную и дышало вонью, то отстранялось с ухмылкой и дразнило. Что это — от слабости ударил коньяк или глаза ни на что не хотят смотреть? Со скрежетом, как несмазанные ворота, гудел бас Демина:

— Я тебя разгадать хочу. Вот ты сидишь именинником и облизываешься — наелся, напился и нос в табаке. А для чего ты живешь, скажи, какая у тебя цель в жизни?

— Я без цели живу, — отвечал старик, прищамкивая, прижевывая деснами слова, и спрашивал в свою очередь: — А у тебя какая цель?

— У меня цель — человеком остаться. Понял ты меня? Хоть что будь — хоть землетрясение, хоть снегозадержание — «снегозадержание» случайно попало Демину на язык, но и оно пошло в дело. — Теперь человека из себя вытряхивают прямо безрассудно, как будто ни одного грамма полезного вещества в нем не осталось. Сдают за копейку... приемные пункты для порожней этой тары чуть не на каждом углу и даже в каждой квартирешке. Вот до чего дошло! Согласен ты со мной?

— Наполовину согласен, наполовину не согласен, — уклончиво отвечал старик.

— Чего это ты как девица: наполовину дала, наполовину не дала. Так не бывает. Где она у тебя, половина-то? — покажи мне ее. Не покажешь. — Демин запнулся, сердито косясь на старика, и продолжал, обращаясь уже к Анатолию. — Я раньше не понимал... да и не было этого, не было! Но как казалось: раз человеческий образ, то и человек. Один лучше, другой хуже, не без этого, но все люди — раз образ имеется. Каждого можно приспособить для полезного дела. Человек от человека происходит самосевом — ну и можно не задумываться об этом... кто родился — тот пригодился. А теперь что делается? Образ есть, а человека нету. Нету! Куда подевалось? Пусто! — Демин с отчаянным свистом выпустил из себя последнее слово и неподвижными, круглыми глазами, стоя, глядел ему вслед. — Как молотилку такую запустили на скрытной тяге, и она заработала во всю мощь. Тогда другой вопрос, — оборачиваясь опять к старику, потребовал Демин: — Кому это надо? Как так может быть, что человеку надо, чтобы в нем не было человека? Может такое быть?

— Может, — хохотнув, ответил старик.

— Чему, дурак, радуешься? — одернул его Демин. — И как такое может быть, что человек в этом заинтересован?

— Вот ты же заинтересован... — У старика получалось «жаинтерешован», — чтобы перед тобой сидел дурак. Так и другие заинтересованы. Дураком и управлять много ума не надо. Подсунь ему, прямо сказать, в телевизоре права человека, а корку хлеба в натуре подсунуть забудь — ему и этого по гроб жизни хватит.

Демин, похмыкивая, с минуту внимательно смотрел на старика и сказал, обращаясь опять к Анатолию и не ожидая от него ответа:

— Посмотри, как заговорил, а! Как заговорил! Он не дурак... поговорить он умеет. Не

дурак... Но — не человек! Дурак-то что... дураком тоже можно доброе дело закрепить. Я вот ржавый гвоздь, а потребуется мной доску прибить, я держать буду. А кто человека в себе потерял... это гниль, труха, одна видимость. Ни им забить, ни в него забить. А человека в тебе нету, — решительно определил Демин, нависая над стариком и отшатываясь от него. — Я не о том, что ты по помойкам промышляешь. Это твое личное дело. Всем нам нынче такие права дадены. Я вас жалею. Хочешь знать, я вас даже уважаю... за несчастье за ваше. Каждый может упасть. Но только не на колени. В любом положении надо держать фигуру.

— Какая там фигура?! — Анатолий сказал и повел головой, озираясь: он это сказал или не он?

— Можно, — не согласился Демин. — И под забором умирать надо с пользой. Чтобы ты и мертвый... дай Бог вытянуть это слово... сви-де-тель-ство-вал... во! свидетельствовал, а не валялся куском дерьма. Чтобы и на подзаборного на тебя глядячи, люди правду видели. Правда мертвой не бывает. Вот таких я всегда уважать буду, у них положения нет, а человек есть. А ты что? — взялся опять Демин за старика. — Смотрю я на тебя: а ведь ты везучий. Везение твое тараканье, а все равно... Тебя по правде надо было заодно с твоим казбеком прихлопнуть, а мы тебя коньяком угощаем, воспитательные беседы с тобой ведем.

Старик с разомлевшим користо-малиновым лицом покорно кивал, снова и снова просил чаю. За окном вдруг ярко озарилось и распахнулось — выдралось из небесной хмари предзакатное низкое солнце. Пришел из школы Иван и, полюбовавшись с минуту в дверях на забавную компанию, скрылся в комнате, в прежней Светкиной, в которой поселился теперь он.

— А бесполезно все это, — откидываясь на спинку стула и принимая независимое положение, с неожиданной твердостью заявил старик.

— Что бесполезно, о чем ты, дорогой?

— Бесполезно. Наша песенка спета. И стреляла она зря. Не остановить.

У Демина от удивления даже голос присел:

— погоди, погоди... А ну-ка сначала. Это ты о чем-то серьезном. Давай разбираться.

— И с начала, и с конца одно выходит... Иссякли. Были, шумели и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра. Не поможет. Человек старится и народ старится. Слабнет, переливается в другой народ. Закон природы.

Демин, придя в себя, загремел, одной рукой стиснув плечо Анатолия, другой старика:

— Да это же целая философия, философия прямо с помоек. Ты погляди на него! Чтобы оправдать свое ползучее положение, посмотри, какое они учение изобрели!

— Мы первые, а вы покричите, покричите да туда же... Чему быть, того не миновать.

— Врешь, никогда не бывать этому!

— Ты сам говоришь: человека не стало...

— Да не совсем же не стало! Ты меня на свою сторону не тяни!

— Не стало. Критический период наступил. Силы не стало, воли, фигуры, которую ты поминал... Бросились врассыпную кто куда. В прислугу перешли. Своих не любят, прямо сказать, ненавидят, перед чужими ползают.

— Как ты перед своим придурком-джигитом!..

— Как я, — спокойно согласился старик.

Демин то присаживался, то вскакивал, ощущая тесноту в том и другом положениях; наконец он решительно поднялся и скрестил на груди руки, как при окончательном решении, после которого остается только действовать. Голос его загремел с новой силой:

— Он говорит... он-то из своей щели говорит, ему, таракану, все можно, с него взятки гладки. Но ведь этакое не там только говорится. Это много где говорится. Ишь, наша песенка спета. Про песенку погоди, разберемся, — пригрозил Демин старику. — Но ты забыл сказать, что мы и никогда ни на что не годились... ошибка природы, наказание божье, дурная болезнь... Это ведь тоже говорится! — Демин перевел дух и закричал: — Ива-а-ан! Не убежал еще? Поди сюда, послушай!

Иван подошел, в дверях навалился на косяк. Был он по-домашнему в майке, на которой

красовался бык с наставленными рогами. Демин настороженно покосился на быка.

— Слушай, Иван, тут вот говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета. Русская, значит, песенка спета. Что мы уж ни на что не годимся, только свет впустую коптим. Ты у нас молодое поколение, как ты считаешь?

— Попоем еще, — улыбаясь, отвечал Иван.

— По-по-ем! — подхватил, зычно пропев, Демин. — Но ты это, — он опять обернулся к Ивану, — ты это так, к слову, сказал или вы там это обсуждаете? Сказать по-разному можно.

— Обсуждаем.

— И много вас, кто обсуждает?

— Нет, не много. Но много и не надо.

— Почему? Отвечай!

— Остальные — кисель. Под телевизором угорели. Им все равно. С ними еще работать да работать.

— А есть кому работать?

Иван неопределенно пожал плечами, или не желая говорить, или оттого, что нечего было сказать, перегнулся через отцовское плечо и насадил на кусок хлеба кусок рыбы из консервной банки.

— Голодный? — встрепенулся Анатолий и подвинулся, освобождая сыну рядом с собой место, но Иван отказался:

— Попозже. У меня еще дело.

— Крепкие нужны дела, Иван, крепкие, — взялся наставлять его Демин.

Иван обвел их внимательным взглядом, пытаясь соединить вместе то, что в его сознании не соединялось, и, продолжая улыбаться, рассказал:

— Недавно была одна встреча. Выступал ученый из Новосибирска. По теме: «Есть ли у России будущее?» Он хорошо говорил, нам понравилось. Его спрашивают: «Почему вы всех русских хотите сделать русскими?» — «А почему я всех русских должен делать нерусскими? Они ведь рождены русскими!» — говорит.

— Во! — вскричал Демин. — Ну молодец! Ну голова! Вот так и надо отвечать. Чем проще, тем точней.

— Ему дальше. «Дело не в имени, не в национальности, — говорят. — Каждый человек должен меняться, как хочет, как его душа желает, способом свободной эволюции». Он отвечает: «Это будет не эволюция, а мутация, атмосфера создана такая, что он будет перерождаться в чужое. А когда переродится, он будет ненавидеть всякого, кто не переродился. Это, — говорит, — закон потери лица, закон предательства».

Демин задумался, глядя на Ивана, и сказал Анатолию:

— А ведь мы с тобой, однако, глупее были...

— Хорошо бы, — отозвался Анатолий.

— Что хорошо? Хорошо, что мы глупее?

— Хорошо, что они умнее.

— Они правильно делают — подковываются. Им палец в рот не клади.

Старик, едва мерцая мутными глазами, притих и не выказывал больше желания спорить. Анатолий заметно устал от застолья; Демин, как всегда, был полон сил, и пришлось ему эти силы употребить на то, чтобы скомандовать общий подъем и проследить за исполнением. Вышли, как и пришли, Демин и старик вместе, и слышно было из-за двери, как Демин что-то зычно внушает старику, останавливая того на каждом пролете и снова подталкивая вперед.

Утром, пересиливая горькие остатки нездоровья, пошел Анатолий на работу и не слезал с нее, или это она не слезала с него, три долгих месяца, до весны. А весной, уже в апреле, когда пришла пора разводить огородишко на даче, опять весь вышел — до того, что слышал, казалось, в себе гулкую пустоту, и провалился без всякого интереса к чему бы то ни было неделю. И стало потом повторяться это с ним периодически. Свидания с заключенными

полагались в колонии раз в квартал, но Тамаре Ивановне в поощрение давали их ежемесячно, и она сама назначала, кому приехать к ней — мужу, дочери, сыну, отцу. Но много ли на таких урывчатых встречах поговоришь и разглядишь, если даже добавляли время, потакая Тамаре Ивановне, пользовавшейся в колонии авторитетом снизу и сверху — как среди подобных ей бедолаг, так и среди начальства. Долго скрывали от нее, что сгинул в тайге Николай, пока не приехал Иван Савельевич, он скрыть не мог. После этого Тамара Ивановна призвала Ивана и тугим, с хрипотцой, голосом заявила, что, если они бросят дедушку, она и отсюда, из-за колючей проволоки, задаст ему, Ивану, такую трепку, что хватит на всю жизнь.

— Я ответственный за дедушку? — уязвленный, взявший слегка шалопайский тон, спросил Иван.

— Ты! Ты! Понял?

— Я, мама, хорошо понимаю тебя, даже если тебя рядом нет...

— Ишь, закрутился! Я, может, и зря на тебя, ты сам с усам, а ты все равно слушай.

Иван дурашливо вскинул ладонь ко лбу:

— Слушаю и повинуюсь!

Особенно настораживала Тамару Ивановну Светка. Светка не успокоилась, нет, по лицу ее еще пробегала дрожь, руки безвольно опускались, когда она забывалась, глаза устремлялись в пустоту, чрезмерно накрашенные губы оттопыривались. Она не успокоилась, нет, но она смирилась с собой, определила свое место среди людей, видя, что там, в их кишачем клубке, она не из последних, и научилась смотреть на все исподлобья, говорить мало и неохотно. Не все могла спросить у нее Тамара Ивановна и не все говорила ей Светка, но замечала мать, что девчоночья пора ее дочери кончилась — может быть, тогда, при нежном и истеричном свидании в стенах СИЗО и кончилась, и теперь к матери приходила женщина, отягощенная клеймом несчастной и ищущая, как ей с ним ужиться.

Анатолий всякий раз и ждал встреч с Тамарой Ивановной, и тяготился ими. Он давал отчет: что едят, что из одежки куплено, прибавлял свой заработок, чтобы жена меньше беспокоилась о них. И тем самым как бы поднимал себе цену. Это было противно и не было в этом никакой необходимости, но в следующий раз опять повторялось. Он делал отчет, задавал одни и те же вопросы: что принести? как она спит? не устает ли? — и сказать ему больше было нечего. Он боялся спрашивать о жизни и отношениях в колонии, это было что-то непредставимое, о чем не хотелось и знать. И, уходя от жены, чувствовал Анатолий облегчение.

Когда-то он читал книги, теперь не заглядывал даже в газеты. Там ничего не меняется: в одних газетах бедные жалуются на свою судьбу, вспоминают прежние времена и порядки, клянут реформаторов; в других говорят на каком-то странном диалекте, который невозможно понять, — будто Россия, ободранная и кровоточащая, осталась только для бедных, а для богатых это совсем иная страна, ничего общего с прежней не имеющая... Бедные требуют справедливости, богатые настаивают на продолжении реформ — и нет, и не может быть между ними согласия, только глухая вражда. Богатые и бедные настолько далеки друг от друга, настолько в разных обитают мирах, что ни один бедный не убил ни одного богатого и ни один богатый не помог ни одному бедному. У богатых даже солнце свое, отдельное от бедных, — на каких-то экзотических островах — отнятое и вывезенное из рая; у них народились фантастические вкусы: играть в футбол они летают на Северный полюс, для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов, любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные между тем спорят, ходить или не ходить им на выборы, и, в сотый раз обманутые, все-таки идут и голосуют за тех, кто тут же о них забывает. Эти два разных мира разнятся не только богатством и бедностью и вызванными ими инстинктами, не только несхожими приемами жизни — во всем, во всем без исключения: что хорошо для одних, то плохо для других. Но ни там, ни там нет согласия и внутри себя — у одних от непривычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся им когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом

или никогда не удастся и кому-то в конце концов придется уходить.

Анатолий ставил машину в гараж далеко, на выезде из города, и добираться оттуда домой приходилось трамваем, а потом еще и троллейбусом. Народ ехал тяжелый — сухой порох да и только, задень ненароком, — сразу вспыхивает и чуть не за грудки. Сорвав злость, опять наглухо умолкают, словно боясь уже и себя, убрав глаза, затаив чувства. Потряхивает, подергивает — покорно трясутся, подпрыгивают, а то и летят кучей малой по проходу, сдавленно ойкая и подбирая ноги. Уже и не ругают ни власть, ни порядки, а только терпят. Залетит в троллейбус стайка молодежи, окликая друг друга и перебрасываясь шутками, — и тоже примолкнет через три минуты. Влезет какой-нибудь хам, поднимет голос на проводницу, требующую билета, и никто за нее, девчонку, не вступится. Все равно. Нет справедливости в большом — что искать ее в малом! Спасайся кто как может, кто во что горазд.

И по улице двигаются невесело. И только по делу, по нужде, по неволе. Совсем не стало праздно прогуливающихся: машины вытеснили отовсюду, по тротуарам нет больше пешего хода, на проезжей части голову сложишь незамедлительно, на старые деревянные переулки, когда-то тихие и приветливые, теперь разбитые и замусоренные, тоже густо облепленные машинами, глаза бы не смотрели... Все торопятся добежать до цели, все с сумками, баулами, огромными пакетами — будто переезжают. А куда переезжать? Тут хоть троллейбусы ходят, электричество, тепло не только по праздникам, но и по будням, а в других городах, слышно, и этого нет.

И дома как не дома было Анатолию — пусто, неуютно, безотрадно. Присели стены, стылостью затянуло окна, как-то вдруг сразу, за месяцы, расшатались и заголосили половицы. И руки не поднимались поправлять. Светка сняла и постирала перед Новым годом шторы, а навесила — то же самое, боль да стынь не отстирываются. В новогодние и рождественские дни было много солнца, деревья стояли в куржаке и ярко переливались на солнце брызжащими искрами, снег по утрам под ногами скрипел с бодрой голосистостью — и Анатолий думал: «Что это — остатки прежней жизни или все-таки нарождается новая?» На площади наморозили сказочный снежный городок — с былинными фигурами, форсистыми избушками, с башнями и горками, с музыкальной каруселью... Анатолий шел мимо, утонув в счастливой ребячьей галде, и едва сдерживал слезы: а ведь у его детей такой сказки не было. К Ивану забежала одноклассница с широко раскрытыми глазами на круглом лице, с румянцем на щеках, с ямочкой на подбородке, веселая, сияющая, звенящая, и красота ее показалась Анатолию столь свежей и милой, что поверилось, будто прежде такой и быть не могло, потому что она, такая, только-только родилась в возмещение каких-то происшедших в человеке потерь. И опять ни с чего подступили слезы. Он становился слезлив на хорошее, чудом сохраняющееся в жизни; хотелось верить, что это не прощальное, а, напротив, приходящее, небывалое...

Но позвонила тогда же, вскоре после Нового года, Светка и облила холодной водой:

— Папа, ты помнишь Николина... ну того, из областной прокуратуры?

— Помню.

— Убили его.

— Как ты знаешь? За что? — Анатолий встревожился, не связано ли это как-нибудь с ними — со Светкой и Тamarой Ивановной?

— По телевизору только что сказали. А за что? ...Въехал, наверное, куда не просили...

Анатолия поразили и этот язык, какого еще совсем недавно не было у Светки, и тон ее, тоже новый, неприятный, в котором жалость звучала спокойно, почти безучастно.

Он подошел к окну и уставился в улицу. Час был не поздний, но, кроме пронсящих машин, составляющих теперь и дыхание, и кровообращение города, ни одной живой души на улице не было. Дали людям две праздничных ночи и заперли опять в квартиры, разогнали по щелям. И станут они теперь покорно ждать, когда солнышко растворит день пошире и прибавит светлые часы утром и вечером.

Часть третья

Освободилась Тамара Ивановна — за примерное поведение и добросовестную работу — через четыре с половиной года.

Эти четыре с половиной года превратились в целую вечность, и много что в ней произошло. Похоронили Евстолию Борисовну, скончавшуюся скоропостижно и не по-христиански: перед телевизором, за одним из тех фильмов-убийц, которые ежедневно разрывают сердца пожилых простодушных людей. Однокомнатная квартира Евстолии Борисовны досталась Светке, а еще через полгода Светка так же скоропостижно выскочила замуж за мелконького, похожего на парнишку, 30-летнего самозванца, наплевшего ей с три короба, называвшего себя менеджером и полными днями валявшегося на кровати. Светка родила от него девочку и разошлась, когда убедилась, что ее «менеджер» крутится в шайке наркоманов. Разошлась — не значит рассталась: муженек покидать квартиру отказывался, не давал жизни ни Светке, ни всему подъезду четырехэтажного дома, пока Анатолий не собрал для него отступные и не науськал на него, по совету Демина, одного, похожего на бандита, общего их знакомого. Девочка росла испуганной, нервной, на ноги встала только в полтора года, говорила плохо. Светка не работала. И, конечно, ждала и боялась возвращения матери. Она и девочку пугала:

— Вот погоди — придет Тамара Ивановна, придет твоя бабушка, она нам задаст!

И тут же бросалась успокаивать:

— Бабушка у нас хорошая. Она справедливая. — И для себя добавляла: — Она — солнышко с продиристым ветерком.

Иван после школы лето и осень проплавал на Байкале, на катере Гидрометслужбы, а потом на два года ушел в армию, служил в ракетной части в Забайкалье. Но Байкал и снился, и постоянно мерещился ему и в армии. Он будто альбом листал. Накатывал лениво крутой вал, выбрасывал в последний момент, как жало, белый пенный гребешок и с силой ударял в нос катера, подбрасывая его вверх, в воздух, и вдруг проваливался — задирались корма, нос из пустоты гулко бухал в водную канаву и тут же снова стремительно взмывал вверх. И сразу же другая картина: слева по ходу катера необъятная гладь воды, замершая в истоме, греющаяся на солнце, раскинувшаяся столь далеко, что едва виден противоположный берег, а справа ссыпается ворохами с близких береговых откосов чистое золото осеннего «цветения»... И третья: могучие, в белых каракулевых папах, ряды гор, как воинов, стерегущих Байкал на выплыве его в Ангару, и — волшебное, радужное, переливающееся под тихим вечерним солнцем зелеными, голубыми, синими струями, мерцание бездонной воды... За четыре месяца на Байкале Иван не взял в руки ни одной книжки, весь отдавшись новым и живым впечатлениям, в армии тоже было не до чтения, а, воротившись из армии, неделю бродил по городу, высматривая и выпытывая, куда без него развернулась жизнь, и вдруг нанялся в бригаду плотников, уезжавших строить в дальнем селе церковь. Это было районное село на Ангаре, недалеко от него лежала-бедовала родная деревня Тамары Ивановны и Ивана Савельевича. Когда заглянул Иван к дедушке и сообщил ему об этом, тот только крякнул от удивления:

— Хо! Ну ты, парень, и пострел — везде поспел! Кто это тебя надоумил?

— Надоумили, — с улыбкой отвечал Иван, поверивший, что нет, не случайно выпадает ему эта дорога на родину матери и дедушки.

— Поставите церкву — свози меня поглядеть. И на деревню свози в остатный раз. — Иван Савельевич расхрабрился. — Ну, подбодрил ты меня, парень! Пойду сегодня объявление делать своему поместью... что передумал сдаваться... надумал дюжить, покуль ноги держат. Я свои ноги не совсем еще стер. Ни-че-во! — все больше утверждал себя в собственных силах Иван Савельевич. — Попыхтим еще. Ни-че-во!

Поместье — и огород, и ограда — было сильно запущено, сосны насорили шишками, нижние сухие ветви на соснах торчали как признак общей омертвелости, на крыльце прогибались и выдавливали гниль половицы, перед поленницей огромная куча щепы, заплот

совсем почернел, осел и прогнулся. Но хуже всего — глубоко просела на северный бок изба. Внутри избы стоял тяжелый спертый запах запущенности и старости. Все больше и больше обращая внимание на это убожество, Иван думал: «Вот наострюсь тюкать топориком — и надо сюда. Надо наводить порядок. Тут, если руки приложить, жить да жить еще можно».

Ивану Савельевичу шел семьдесят седьмой год.

Анатолий недолго выдержал жизнь в торгашеском мире и перешел в фирму, занимавшуюся ремонтом квартир. Он упрямо называл свою фирму «организацией», ему казалось это приличней и надежней, но — что в лоб, что по лбу! — торгашеством было пропитано все, а специализировались они на евроремонте, что с «организацией» никак не вязалось. Зарабатывал Анатолий неплохо, но надо было кормить и одевать Светку с девчонкой, помогать Ивану Савельевичу, вспоминать о сыне, отнести жене, да и непременно, с постоянством дождя летом и снега зимой, случалось что-нибудь такое, что требовало непредвиденных расходов, — и не хватало. Он отказывался от выходных, возвращался домой поздно и, вспоминая о заброшенной даче, ждал Тамару Ивановну, чтобы решить, не продать ли дачу... Он постарел и жил в постоянном страхе перед своей «интеллигентной», как ее называл Демин, болезнью, которая сбивала его с ног на неделю, каким-то подлым приемом выпуская дух и превращая тело в мешок едва шевелящихся костей. Он пробовал лечить свою болезнь, узнав, что есть у нее и название, а, стало быть, может быть и излечение, за нахальную цену покупал таблетки, напоминающие сгустки бычьей крови, но приступы не исчезали и — бросил. Такое время — что поделаешь! Знай терпи. И всерьез, как что-то живое, но всегда существовавшее скрытно, стал считать это время, продолжающееся уже более десяти лет, буйнопомешанным, вырвавшимся по недосмотру из-под запоров, где ему полагается находиться. Анатолий с состраданием и ужасом смотрел на знакомых, которых не встречал несколько лет; за несколько лет они превращались в стариков... С ужасом смотрел он и на любимых когда-то актеров, днюющих и ночующих теперь в телевизоре: бесы, бесы с поведенными на сторону, искривленными дряблыми рожами, с нарисованными уродливо глазами и ртами, с дурацкими ужимками, с пошлой скороговоркой... Ну, не могут же они не понимать... они, бывшие еще недавно умными и талантливыми, вызывавшими восторг одним своим появлением!.. Это время, время виновато... не время в продолжительности дней, несущих неизбежные перемены, а время в своем уродстве и низменных изувеченных страстях... это оно лишает нас рассудка и лица! И должно же это когда-нибудь кончиться! И невольно, и понимая прекрасно, что это слишком уж по-детски, связывал Анатолий чаемые свои надежды с освобождением Тамары Ивановны.

Тамара Ивановна вышла за ворота колонии уже после обеда: пока выписывали полагающиеся бумаги, пока выяснилось, что автобуса в город в этот день не будет... Кто-то крикнул за ее спиной, когда она закрывала за собой последнюю дверь: молодой женский голос прозвучал весело-отчаянно и срывно, как почти все выкрикивалось здесь на срывной ноте, и Тамара Ивановна поняла этот голос как посланное ей вдогонку прощание. За четыре с лишним года она прошла за этими стенами горькие, порой жестокие, но и полезные университеты и знала, что самое лучшее средство от надсады и разрыва сердца — умение отключить его от перегрева: кровь пусть качает механическими, безучастными толчками, но чувствительные и всякие там эмоциональные клапаны силою воли перекрыть, будто и не его это дело. И так — и есть сердце, и нет его — можно держаться неделями, погрузив себя в пустынное, отсутствующее состояние. Избавление от каторги, встреча с родными — событие не из рядовых, тем более следовало в этот день побережь себя, и Тамара Ивановна еще с утра постаралась «обесточиться», чтобы, не дай Бог, не сдали нервишки. Доберется до дома, скинет с тела, и с сердца тоже, четырехлетний нагар, отмоется в десяти водах, поверит, что это не сон, — тогда и можно будет прижать к лицу свою серую, под цвет нещадной тоски, арестантскую хламиду и смочить ее слезой.

Тамару Ивановну никто не встречал, о дне своего освобождения она не стала извещать

родных. Ни к чему. Ушла не попрощавшись и вернется не сказавшись. Все ее вещички уместились в просторную матерчатую сумку, подмышкой держала она подарок, врученный ей, бригадиру, на прощание ее бригадницами, — простеженную по всем правилам ватную телогрейку, каких на воле не сыскать. Подарок бесценный, неизносный, с невыветриваемым запахом ее подконвойной жизни.

Стоял поздний октябрь, еще сухой и еще не сдавший окончательно тепло. Бледное солнце устало точило слабый, едва подкрашенный, свет. День был тихий, обмерший, грустный. Сосновые рощицы, разбросанные по всему кругозору тучными, подпаленными рыжиной, скирдами, лежали безмолвно и безжизненно; откуда-то сладко доносило дымком. Заставив себя не торопиться, Тамара Ивановна по закатанному землей старому асфальту, превратившемуся опять в проселочную дорогу, шагала в притрактовый поселок, где остановка рейсового автобуса, и старалась спокойно, с привычной озабоченностью пустившегося в путь человека, думать о ближнем и будничном. Нет, не получалось: странно было идти в одиночестве, в тишине и бескрайности, словно из ниоткуда в никуда, без цели и понуждения; странно было нащупывать ногами эту земную картину, на которую она годами смотрела почти как на небо; и ощущать удивительную легкость и плавность шага, как при передвижении по небу и вспоминать себя случайными, с опустевших полей доносящимися, дуновениями, а затем опять забывать; и чувствовать вместе со всем, что было вокруг, немой восторг перетекания в какой-то иной состав.

Она подошла к остановке за час до автобуса и устроилась на единственное, никем не занятое, сидение — на торчащий из земли, гладко отполированный валун, подстелив на него телогрейку... И застыла изваянием, таким же, как этот валун, насадив на него небольшое возвышение. Проходили мимо люди, проплыли, едва передвигая ногами, след в след, крутобокие пестрые коровы, пробегали машины, чужая разнопородность которых слабо удивила Тамару Ивановну: и когда успели набежать? Смирность дня передалась и людям: большой бурятский поселок лежал сонно, изредка подавая глухие и замедленные признаки жизни. Стали подходить к автобусу, бросали на Тамару Ивановну равнодушные взгляды: к таким, как она, здесь привыкли. Ни с нею никто не заговаривал, ни она ни с кем. Полная тишина лежала у нее на душе. Поднимая иногда взгляд на лагерные постройки, хорошо видимые в чистом воздухе, она не сразу и узнавала их, не сразу и соединяла с ними себя, а, соединив, скользнув молниеносным воспоминанием, не дав высечь в себе чувства, отводила глаза. Что было, то было; что будет, то будет, а сейчас она только катышок, выпущенный из прочных визгливых ворот, прокатился он неспешно и бесстрастно по одной дороге среди полей и перелесков, свернул на другую, по обочине ее, чтобы никому не мешать, докатился до камня-валуна возле разбитой деревянной ожидалки и приник к нему, а затем вскочит он в другой, большой и полый, катышок и внутри его покатится дальше.

И здесь сладко тянуло дымом: в огороде за спиной жгли высохшую картофельную ботву. Тамара Ивановна развернулась в ту сторону: рослая мясистая деваха вела впереди себя вилами по борозде и навивала лохматую кудель, с вилами на весу на вытянутых руках несла ее затем к огню. И стояла с широко расставленными голыми богатырскими ногами, многодумно наблюдая, как огонь пожирает ботву. На заборе неподвижно сидела кошка и тоже наблюдала за происходящим в огороде. Очищенную борозду тут же захватывали курицы и принимались деловито что-то подбирать, ни разу не вскудахнув, не вспорхнув в тревоге... Пустячная эта картина почему-то взволновала Тамару Ивановну до комка в горле. Господи, неужели сохранилась еще где-то цельная и размеренная жизнь, а не одни ее обломки? Неужели такие девахи, способные уверенной поступью ступать по жизни и внушать спокойствие всему, что есть вокруг, еще не изведены? Тамару Ивановну нельзя было обмануть: эту с могучих ее ног не собьешь и она в мелкую тараканью жизнь не вместится. Или выдался сегодня день целебный, случающийся раз или два в году, на каких-то таинственных переходах, все-все вокруг умиривший, напитавший надеждой? Счастливы, должно быть, бывают приходящие на свет в такой день... Но уж, наверное, не окажутся обделены совсем и те, кто начинает с него новую жизнь...

Тамара Ивановна так глубоко и бодро вздохнула, будто очнулась от обморока.

День будний, на торги успели уехать с утра, скоро уже и возвращаться, поэтому в автобусе, следующем в город, оказалось свободно. Покатилась дальше Тамара Ивановна. Телогрейку устроила на колени, сверху сумку, и хоть спи на ходу; усыпляюще ворчит мотор и мягко зыбают по добротному асфальту колеса. За спиной бормочут две пожилые женщины; на другой, на левой, половине салона, уткнувшись в стекло, горько вздыхает раз за разом мужик — не иначе как с похмелья; по проходу катаются две пустые пластмассовые бутылки, которые на обратном пути хозяйственными бабами будут непременно подобраны и, залитые брагой или самогонкой, превратятся в «соски» для взрослых дядей и тетей — по двадцать пять и пятьдесят рублей за штуку. Как ни замкнута на запоры, как ни закрыта была зона, но и в нее попадали эти «соски», и там припадали к ним жадными, причмокивающими губами.

Отваливались на сторону придорожные перелески, то раскрывая, показывая полевые глубины со стерней, торчащими из земли капустными кочерыжками и валами черной пашни, то смыкаясь, двигаясь в непрерывном медленном танце, пригибаясь и расправляясь в рост. Значит, засеивались все-таки поля, значит собиралось что-то с них и опять готовилось к засеву. Значит, кроме «купи-продай» и «украдь-сбуди», сохранились все-таки и серьезные, рабоче-крестьянские, занятия, а не одно только дуrolомство... Или это ничего не значит? Не китайцы ли выращивают эту капусту, не кавказцы ли скупили эти поля? А до того местную власть скупили, как морковь? Тамара Ивановна с легким укором одернула себя: не сейчас бередить этим сердце, не сейчас... Не сегодня. Как хорошо, как пусто на душе, и нет продолжения ничему-ничему, что было вчера, а есть лишь окончание, какие-то тихие, свершающиеся в небесах, дожинки после страдной поры и плавный переход в другую жизнь. Или это никак невозможно — приподнять верхнюю землю над землей исподней, незагаженной, стряхнуть с нее, верхней, могучим движением все, что взросло пагубой, и опустить, обновленную, обратно! Как бы хорошо, если бы такое было возможно и это возможное творилось уже сегодня!

С въездной горы город открылся широко-широко и показался в серой, похожей на пыль, дымке нагромождением руин, среди которых сливалась в разные стороны в тяжелом металлическом блеске лава. И потом, когда эта лава очертилась в потоки машин, а город принял свой обычный, бескрасный без зелени, вид, бесконечная грусть, курясь и смеркаясь от болезненных выдохов, облаком встала над ним и облекла все небо.

На автостанции Тамара Ивановна вышла из автобуса последней, чуть отступила от людской толчеи и огляделась, интуитивно держась какой-то правильной последовательности, с какой следует впускать в себя уже и выветрившуюся из нее, уже и народившуюся без нее, вольную городскую жизнь. Визжал на повороте трамвай, разрисованный рекламными рожами и расписанный чужими буквами, приткнулся ненадолго, выдавливая из себя и всасывая в себя набравшуюся порцию пассажиров, и опять с визгом сворачивал на прямой путь. Неприкаянно бродили вокруг с такими же, как у Тамары Ивановны, сумками поникшие, как трава в затяжное ненастье, люди; со спокойным нахальством, без моторного грохота, пронеслись захватившие дороги иномарки. В колонии, всматриваясь в лица своих подруг по несчастью, Тамара Ивановна пыталась понять, есть ли отличие между ними и теми, кто на воле, а если есть, в чем они? Их не могло не быть, этих различий: одни во всем стеснены, другие по всем свободны; одни себе не принадлежат совершенно, у других весь мир под ногами; одни деформированными скребками продираются сквозь каждый день, как через бесконечные глухие заросли, другие дней не считают. И казалось Тамаре Ивановне, что в лицах лагерниц мало себя; желание забыться, перемочь каторжные годы только частью себя, притом, не лучшей частью, чтобы сберечь лучшую для иной доли после освобождения, искажают лица до неподобия, в выражении их как бы появляются пустые, ничем не заполненные, места... Эти наблюдения можно было делать лишь в первый год, затем, увязнув в одинаковом для всех горьком быте и имея перед глазами лишь один мир, Тамаре Ивановне было не до них. И вот теперь, жадно всматриваясь

в людей, оставшихся здесь, ничем не стесненных, безоговорочно себе принадлежащих, она вдруг поразились: да ведь это лица тех, за кем наблюдала она т а м. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью... Это что же? Почему так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами, что хоть из шкуры вон, результат одинаковый?

Но уже догадывалась Тамара Ивановна, что на подобные вопросы здесь больше не отвечают. Не четыре с половиной года не было ее на этих улицах, а все сорок пять. И за эту эпоху жизнь закалилась и уплотнилась настолько, что она не признает никаких сомнений, ничего хлябющего, перетаптывающегося, и уверенно делает главное свое дело — чеканит из человека монету.

Тамара Ивановна и себе не могла бы признаться в этом: не хотелось ей торопиться домой. Словно только в таком положении, как теперь, вне времени и жизни, на какой-то короткой переправе с берега на берег, и дышалось ей вольно. В разбитом скверике подле вокзала она отыскала место почище, опять подстелила телогрейку и устроилась лучше не надо. Смеркалось, сильнее запахло дымом от печей, важно поднимавшимся над деревянными домами за речкой; приятно, перебивая бензиновую настоенность, загорчил воздух. Слетела припозднившаяся стайка воробьев и, вытягивая головки, всматриваясь, кто она есть, — человек или камень, запрыгали вокруг, не находя в ней ничего опасного. Тамара Ивановна покивала им с благодарностью и с таким облегчением вздохнула, что почувствовала, как что-то словно бы распрямилось в ней, прибавив ей роста. Нет, хорошо, хорошо было оставаться в небытии: еще не потерялась и еще не нашлась; еще не забылась и еще не припомнилась себе... За речкой, сразу же за безобразно раскиданным по берегу, как цыганский табор, торговым торжищем из палаток, киосков и металлических контейнеров, высилось каменное здание столь основательной старой постройки, что за ним угадывались и крепостные стены, и нутряные ходы, и глухие помещения... Почудилось Тамаре Ивановне, что не она смотрит на этот дом, а он на нее смотрит, чего-то добиваясь... Пришлось вспомнить: да ведь это пересыльная тюрьма, по-теперешнему СИЗО, следственный изолятор, где она отбыла три месяца до суда. И ему покивала Тамара Ивановна со вздохом, ничего не означающим, кроме облегчения, которым она старалась выстелить дорожку возвращения.

Надо было подниматься, от речки и от недалекой отсюда Ангары понесло прохладой, пронсящиеся машины принялись бить по ушам музыкальным грохотом. Тамара Ивановна решила идти пешком. Куда ей торопиться? Сошла на дорогу, поворачивающую влево, и, не оглядываясь, не озираясь, ступая уверенно среди тяжелых грузовиков, кружа вместе с гремющей дорогой в частых поворотах, стала всходить в гору, на улицу Красноярскую.

У себя во дворе она опять присела — на бортик детского песочника напротив своего подъезда. И минут пять, не шевелясь, смотрела неотрывно на тускло светящееся узкое окно на втором этаже, вспомнив и тут же заставив себя забыть, как она искала в нем из кухни каждую тень в ту ночь, когда потерялась Светка. Потом нашлась... Но нашлась ли? Нет, не надо это вспоминать, ничего не надо. И неужели же правда, что долго, очень долго ее, Тамары Ивановны, здесь не было? Теперь вернулась... Но вернулась ли? Как можно оттуда вернуться после всего, что было? Все перепуталось, нигде ее сейчас нет.

К соседнему подъезду подкралась машина и окатила Тамару Ивановну ярким светом. Ну что же — вперед! Под капризный плач ребенка из машины она шагнула в темную дверь своего подъезда и, поднимаясь по лестнице, ворчливо повторяла: «Минутки не хватило, всего одной минутки...»

Ей открыл Демин. Он разинул рот и хлопал глазами, уставившись на нее как на привидение. Потом взревел по-медвежьи, сграбастал ее вместе с пожитками, не переставая реветь, внес в комнату и бухнул на ноги перед выскочившим Анатолием. Анатолий в полной потерянности неловко обнял ее и отпустил.

— Что это ты меня как племянницу какую... — сказала строго Тамара Ивановна, отбрасывая в сторону поклажу и освобождая руки. — А ну-ка еще раз!

В. Курбатов ДИАГНОЗ

Послесловие

В самую мучительную, самую последнюю, гибельную минуту допроса ее истерзанной дочери, когда уж и голоса своего нет, Тамара Ивановна слышит, как в ней что-то отдельное наговаривает: «Ничего, ничего... Это ничего... Это к нам. Принимайте гостей... мы гостям всегда рады... Мы ничего... Мы такие...»

Как это невыносимо угадано Распутиным! Он и в нас бьется, этот отдельный голос. Вроде бы и проклясть надо обезумевший, потерявший себя мир, где зло перешло всякие границы, а душа иронически кривится: да кого проклинать-то? Сами и приготовили место новому дню, как жестокому гостю. Не скажешь, что не ждали. Давно решетками на окнах и железными дверями загородились, на добровольную тюрьму себя обрекли. Значит, видели уже, что на улицу нельзя выходить, что там зло раскинулось на полсвета — его это вотчина.

Зачем же это именно ей, ее семье такое испытание? Жили честнее других, себя не роняли. Ведь и мы так же и это же закричим (господи, не дай никому в мире пережить то, что пережили герои повести!), А только «гости-то» уж поняли, что «мы — ничего, мы такие» и нас можно убивать на улицах, никто не кинется спасать, можно унижать «поштучно и оптом». Но пока не лично тебя, можно и отвернуться, отделаться вздохом — «Ничего...»

Вот и я когда-то, прочитав «Печальный детектив» и «Людочку» В. П. Астафьева и надорвавшись сердцем, все пытался защититься, что художник «перетемнил мир», что Господень мир милосерднее, что писатель только «не доглядел» уравнивающего света. Вместо того чтобы биться вместе с художником, душу свою пустился оберегать, свет загоразживать. А оно вон как обернулось. Теперь тогдашнее зло уж будто и не зло, а только увертюра к тому, что начнется и что напишет окровавленным сердцем Распутин. И я будто прямо себе в ответ на то давнее письмо Астафьеву о равновесии (словно Валентин Григорьевич за плечом стоял) прочитаю в повести: «Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно, и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышным перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно оборотилось противоположной стороной».

Словно и сам «первичный ход света» прервался. Да ведь так и есть — прервался. Вчитайтесь-ка в повесть-то. Хотя ее и один раз прочитать — много надо сил. После десятка страниц откладываешь и мечешься — места себе не находишь. Была бы река под боком, лес, так — к реке, небу, дереву, а так кинешься к окну, а там только что описанный мир. А каково было писателю месяц за месяцем держать в себе всю эту тоску насилия и опустошения? Но Распутин и раньше себя, как Виктор Петрович Астафьев, мало берег, поднимая самые ранящие проблемы, которые умом не возьмешь, — им все сердце отдай: и в «Последнем сроке», и в «Прощании с Матерой», и в «Пожаре». А тут и еще больше. Тут уж пожар-то во всю землю. И опять, как всегда у него, — на земных, женских, слабых, всесильных плечах.

И все-таки, как ни тяжело, вслушайтесь. Теперь, когда сюжет отболел, когда Тамара Ивановна вышла на свободу крепче, чем была, и удержит себя и семью, когда и в нас перегорел ужас насилия, и можно стало немного распрямиться, теперь можно и в

«публицистику» вслушаться. Я не о прямой публицистике говорю, хотя и ее, как часто у Распутина в последних вещах, много. Да и как не быть, когда мы все теперь политики и публицисты, и кого в герои ни выбирай, хоть деревенского из деревенских, он скоро сам заговорит на уличном политизированном языке. И не от склонности к философствованию и празднословию, как еще несколько лет назад покойно и обстоятельно умствовали о политике мужики, а подлинно жизнь загнала, отравилась сама и отравила нас. Я говорю о публицистике внутренней, которая вошла в порядок мира, ушла из слова в обиход, в рутину повседневности.

Вот тут-то и увидишь, что сюжет сюжетом, а при жестокой тяжести своей он все-таки только частный случай общей беды, только режущая сердце концентрация того, что исподволь сошлось, что в «разбавленном виде» давно пересекло каждую русскую судьбу и от чего ни за какой теорией, ни за каким красноречием и самообманом не укроешься.

Богатые таких книг не читают. У них «даже солнце свое, отдельное от бедных, — на каких-то экзотических островах, отнятое и вывезенное из рая; у них народились фантастические вкусы: играть в футбол они летают на Северный полюс, для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов, любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные между тем спорят, ходить или не ходить им на выборы, и, в сотый раз обманутые, все-таки идут и голосуют за тех, кто о них тут же забывает... Ни там, ни там нет согласия и внутри себя — у одних от непривычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся ли когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом или никогда не удастся, и кому-то в конце концов придется уходить».

Вот в сознании, что кому-нибудь придется уходить, и надо оглядеться в наших «бедных» проблемах, чтобы если уж уходить нам, так хоть понимать, как все сошлось и к чему. И тут повесть ставит диагноз покойный и беспощадный. Не зря и название у нее такое библейски-притчевое.

Это не одна Тамара Ивановна дочь Ивана, мать Ивана. Это (высоко сказать — а мы уже высоко стыдимся говорить — и тут нас заставили понизить голос) — Родина наша, которая тоже и мать Ивана, и дочь Ивана, впервые понимающая, как далеко теперь разведены эти Иваны, как далеко от деда до внука, которых никто, кроме нее, матери, и не удержит, чтобы они совсем родство не потеряли.

Не сейчас, конечно, все началось — с разбежавшихся сыновей и дочерей старухи Анны из «Последнего срока», с беспамятного Петрухи из «Прощания с Матерой», с «Пожара», где только гляди, чтобы свои свое не растащили. И здесь вот тоже Тамара Ивановна, прощаясь с деревней, понимает, что вот бы за что держаться. Но уж коли все поехало, то и ты не усидишь. Только уходить будем «в ту же землю», а жить — на другой, где законы уже не твои. Поневоле вспомнишь, как Сеня из рассказа «Нежданно-негаданно» и дома, в деревне, уже не может удержать почти спасенную от злой эксплуатации «ахметами» девочку. Пришли и взяли, как свою — их закон и сила. И Пашуту из рассказа «В ту же землю» вспомнишь, ночью, тайком хоронящую мать в ту же родную, но будто уж и не ей, Пашу-те, и не матери ее принадлежащую землю, потому что днем похоронить будет нельзя — не на что. Не заработали они с матерью у отнятой земли святым своим трудом даже на человеческую смерть.

Не удержали в свой час — и тоже ведь не по своей воле, — оторвались от корня, а там уж только поворачивайся. Возьмется за тебя «закон рынка». А за детей — злое бесстыдство телевидения, газет и журналов, которые одними обложками растлят, даже если просто мимо пробежишь, — они свое дело знают. А в школе возьмется за них английский (сами будут торопиться ухватить), чтобы скорее «расстаться с родной шерсткой» и быть готовым к чужому закону. Чтобы с пятого класса уметь в суд подавать на директора, чтобы тот на воскресники не выгонял — окурки подбирать, — не эксплуатировал «детский груд».

Незаметно, как-то словно само собой, и родные друг другу люди, как горько и справедливо у Распутина отец Тамары Ивановны говорит, стали будто троюродные. Да и как

могло быть иначе — без общего дома и общей веры? Так что уж и естественно, что и всегда-то по христианской своей крови стеснительные, уверенные, что всяк человек от Бога, «не выдержали мы большой наглости. Не знали мы, что оно так можно. А вот, оказывается, еще как можно, и не одни «ахметы» и «эльдары», у которых животная природа ближе и власть силы и наглости впереди, а и свои скоро научились и наглости, и бесстыдству. И художник только констатирует недуг: «Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои затоны, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью».

Странно сказать, но это тоже неизбежно. Справедливость — есть дитя долгой правильной жизни в истории, дитя единства веры и народной воли. А у нас сегодня, у нынешних забывчивых, за чечевичную похлебку продавших свое первородство людей, как пишет Распутин, «будто и не было прошлого, будто только-только соскочили с какого-то огромного транспорта, доставившего их (нас! нас! — В. К.) на необитаемую землю, где не водилось ни законов, ни обычаев, ни святынь, и, расталкивая друг друга, бросились занимать места. В спешке и брани расхватили, что получше, а на всех не хватило. Теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до них... И принялись скорей изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому навсегда и быть».

А слабость и расшатанность духа, она узнается тотчас, и зло бросается в слабость, как в пустоту. Один из следователей в повести выводит из этого жесткое и тяжелое правило, больше похожее на справедливое обвинение, на «так и надо» — «любая слабость, происходит ли она от государства или человека, провоцирует на новое преступление, и всякий слабый человек притягивает к себе преступника как магнит».

Ну и, добавим от себя, так же притягивает его и слабое государство. И тогда все его крокодиловы слезы и гуманистические призывы — есть только запланированная ложь, слепота, духовная немочь и лень. Но оно — государство — давно уж от человека отделилось, у него свои сытые заботы, а мы вовремя не увидели, не догадались об этом и сами себя в распыл пустили: «Струсил и не поняли, что струсил. Когда налетели эти... коршуны... коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было... Но хищные, жадные, наглые, крикливые... И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, по-дурному, а надо вот так... А мы вместо того чтобы поганой метлой их, рты разинули... И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас... растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсил и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем».

Все хочется попросить прощения за длинные цитаты — ведь вот она, книжка-то, перед читателем, — а все-таки повторяю и повторяю, потому что хочется докричаться, не закрываясь сюжетом, прямо назвать причины беды, обдумать вместе.

Ну а окончательное следствие себя ждать не заставило — в рабство пошли, о чем Иван горько и зло говорит, и в рабство не физическое, а умственное, духовное, в рабство самоуверенного большинства, которое легко снимает с себя ответственность «бронированным» аргументом: о... нас много, мы не можем ошибаться». На что писатель с беспощадной точностью заключает: «Да вы потому и ошибаетесь, что вас много. В толпе думать просто невозможно, там порыв, извержение эмоций... И получается пустое множество».

Мы, конечно, самозащитно кинемся на писателя — не хочется быть «пустым-то множеством». А только ход повести, весь развернувшийся на наших глазах отчаянный сюжет, как прежде в рассказах «Нежданно-негаданно» и «В ту же землю», прямо говорит: пустое, пустое... что только признать не хотим — боимся. Все по старинке надеемся перемочься, «авось» родной на белый свет вытаскиваем — выручал и, может, опять выручит. Или, как это в разговоре Тамары Ивановны с мужем Анатолием звучит: «Пьянство и

трусость, пьянство и трусость! Куда мы на таких рысаках управим?! Что будет?

— Что-нибудь да будет, мать...

— Мне не надо «что-нибудь». Сколько можно: «что-нибудь да «что-нибудь». Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер... и он уползает или отбивается, а не лапки вверх...»

Но пока «как-нибудь» побеждает. Пока мы затаились — авось, само уляжется. Надо только не дразнить их — наглых и сильных. И ведь государство тоже притихло. Нашло счастливый термин «стабилизация» и спряталось за ним. Между тем ведь по-человечески-то, если уж и правда гуманистами себя считать, то после всего совершившегося в одной этой книге, после выставленного в ней диагноза, надо или художнику иск предъявлять за напраслину, возведенную на «стабилизировавшееся общество», или правительство и Думу собирать и решать, как защитить человека, как спасти детей от физического и духовного насилия, потому что все остальные заботы покажутся на фоне совершившегося злой насмешкой над человеком и нарочито вызывающим пренебрежением к нему.

Но я уже думал об этом после айтматовской «Плахи», после распутинского рассказа «В ту же землю». И писал, и тоже кричал. Но никто не тропится человеку на помощь и не собирает ни Думу, ни правительство. И, значит, Тамара Ивановна навеки права, взяв в руки обрез и решая вопросы государства своим материнским судом, потому что это ее дети, ее Родина, ее защита будущего. И художник с гордостью и любовью глядит на нее, возвращающуюся из тюрьмы спокойной и сильной, радуется ее сыну Ивану, который «уперся» поперек «улицы» и тоже не дается ее хамской силе. И не зря Распутин заставляет мальчика ухватиться за Слово, за чудо русской речи. Оно, как Волга, - за него не отступишь. Оно само не даст отступить, отчего его и выжигают так старательно и массирующе. Но оно, слава Богу, покрепче нас духом и в рабство не спешит.

Когда-то Альфонс Доде замечательно сказал «...пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим языком, он владеет ключом от своей темницы». Распутин вручает этот ключ младшему Ивану и сам держит его посреди наполовину дезертировавшей в пустоту «текстов» литературы с твердостью неизменяющего оружия. «Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться... и ни к чему не прийти. И сдаться на милость иссушающей заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издавека-далеко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил... когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон... молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребенка добром, и как утешить старость в усталости и печали — когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга».

Этим высоким, прекрасным неуступчивым словом написана вся эта книга. Она не страшится наивности и повторения известных истин. Художник видит все лучше умных иронистов, которые считают, что надо поспевать за реальностью, а не стоять у нее на дороге. Он сознательно не хочет «поспевать» и нас удерживает, устыжая силой и правдой своей героини, как всегда у него, и такой, как все женщины, и не такой — сильнее! Устыжает самой этой подробной, забытой человеческой прозой, не давая восторжествовать беспамятным «текстам», потому что с первой книги знает: уступив слово — уступишь жизнь. Кто-то должен держать землю и правду, даже если ей изменят все. Остается русский писатель, который без земли и родного духа уже не вправе звать себя сыном русской литературы.

Диагноз, поставленный книгой, страшен, но и лекарство, таинственно содержащееся в этой же книге, могущественно. Это не утешение. После такой книги утешить трудно. Это призыв к защите.